

ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОКА

I

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
АКАДЕМИИ НАУК СССР

I

1952

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР • ЛЕНИНГРАД

ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОКА • I

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии Наук СССР.

Том II, выпуск 2. 1927. Ц. 3 р. 50 к.

Том III, выпуск 1. 1928. Ц. 4 р. 50 к.

Том III, выпуск 2. 1928. Ц. 7 р. 50 к.

Том IV. 1930. Ц. 5 р.

Том V. 1930. Ц. 17 р.

Иран.

Том I. 1927. Ц. 4 р.

Том II. 1928. Ц. 4 р.

Том III. 1929. Ц. 4 р.

Тексты по истории Средней Азии.

Вып. 1. Гияс-ад-дин-Али. Дневник похода Тимура в Индию. 1915.
Ц. 5 р.

Труды Музея палеографии.

Том III. В. А. Крачковская. Арабские надгробия Музея палеографии
Академии Наук. 1929. Ц. 4 р.

Мусульманский мир.

Вып. 1. 1917. Ц. 75 к.

Труды Комиссии по истории знаний.

Вып. 8. И. Ю. Крачковский. Шейх Тантави профессор С.-Петербургского
Университета (1810—1861). 1929. Ц. 2 р. 25 к.

Записки Академии Наук по Историко-филологическому отделению. VIII серия.

Том XIII, вып. 3. Сиракан Тигранян. Древне-армянская книга кано-
нов. Очерки, описания и исследования памятников. I. Описательная
часть. 1918. Ц. 3 р.

ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОКА

I

**ТРУДЫ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
АКАДЕМИИ НАУК СССР**

I

1952

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР • ЛЕНИНГРАД

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

5 июль 1932 г.

Непременный секретарь академик *В. Волин*

Редактор издания академик С. Ф. Ольденбург

Технический редактор Л. С. Ляпунова. — Ученый корректор Е. А. Цакни.

Сдано в набор в марте 1932 г. — Подписано к печати 5 июля 1932 г.

126 стр. — Форм. бум. 72×110 . — $8\frac{2}{8}$ печ. л. — 40128 тип. зн. — Тираж 2000

Ленгорлит № 39564 — АНИ № 199 — Заказ № 659

Типография Академии Наук СССР, В. О., 9 линия, 12

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
Н. И. Конрад. Первый этап японской буржуазной литературы	5
Б. А. Васильев. Иностранное влияние в китайской литературе эпохи империализма	85
Е. Э. Бертельс. Персидский исторический роман XX века	111

Н. И. КОНРАД

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЯПОНСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I

ОБСТАНОВКА, в которой очутилась Япония в первые годы после революции 1867 г., была чрезвычайно сложной и запутанной. Трудности внешнего порядка — наступление западного капитала, хоть и несогласованно, но все же неуклонно пытавшегося закрепиться во вновь открытой стране, сопровождались затруднениями внутри — появлением новых классовых противоречий, продолжавшейся борьбой. Эта борьба велась между двумя основными лагерями — клановой и городской буржуазией с феодалами, осложняясь при этом внутренней борьбой в каждом из этих лагерей. Внутри кланов продолжалось наступление низшего самурайства, в массе отходившего от феодализма и переходившего на новые буржуазные пути развития, против упорно цеплявшихся за свои привилегии высших феодалов-князей. В лагере победившей буржуазии явственно обозначалось расхождение интересов старого феодального купечества и ростовщиков, стремившихся в какой то мере сохранить феодальную систему, к которой они привыкли, которая доставила им возможность накопить в своих руках богатства, и образовавшегося еще в условиях феодализма в земледельческих кланах слоя клановых помещиков, нуждавшихся именно в отмене этого феодального порядка, в особенности — кланового строя, препятствовавшего свободному владению землей, т. е. возможности сосредоточения земель в одних руках, мешавшего и распоряжению ее продуктом — праву самому реализовать его, минуя всякие монополистические организации. Наряду с этим начали развиваться и противоречия в лагере городской буржуазии: появившиеся в «конце Бакуфу»¹ кадры новых людей в ее среде — поставщики, нажившиеся

¹ По японски «Bakumatsu». Так называются обычно последние годы Токугавского феодализма: от появления американской эскадры в 1853 г. до свержения Токугава в 1867 г.

на военных поставках, новые купцы, сумевшие воспользоваться выгодами от ставшей широко доступной внешней торговли, другими словами капиталисты нового типа, спекулировавшие на разорительной для одних и обогащающей других обстановке последних лет феодального режима, столкнулись с прежним «именитым» токугавским купечеством, толстосумами феодальных времен. Более подвижные, менее связанные с традициями и условностями феодального быта, выросшие в иных условиях, воспитавшиеся в обстановке, отличной от той, в которой веками воспитывались те, эти новые люди перестраивались гораздо быстрее и решительнее, чем мало поворотливые представители прежнего торгового капитала: именно в их среде получил особое развитие переход к промышленной деятельности, процесс охвативший потом основную массу городской буржуазии с примкнувшими к ней феодальными слоями и превративший ее в буржуазию уже чисто капиталистического типа, процесс определивший собою лицо наступившей эпохи — эпохи промышленного капитализма.

Как известно, борьба этих противоречий, проявлявшаяся в разных формах, в разной степени резкости, то затихавшая, то снова вспыхивавшая, приводила к различного рода компромиссам. Компромиссом закончилась борьба буржуазии с феодалами: эти последние получили единовременные пособия как выкуп своих владений, стали широко пользоваться средствами из государственной казны — всевозможными субсидиями на предмет переключения на промышленно-предпринимательскую деятельность; черпали средства из кредитных учреждений, в массе появившихся в первое десятилетие после революции и, наконец, получили широкий доступ к государственному аппарату. Клановая буржуазия получила право собственности на землю, право свободного ею распоряжения, что открывало свободный путь к концентрации земель, право свободы в обращении к любым культурам, в первую очередь к становившимся наиболее выгодным для тех времен — промышленным, техническим культурам. Социальным слоем, действовавшим между этими двумя классами, была городская буржуазия, неоднородная, как было только что сказано, в своем составе, боровшаяся между собой, но все же уже создающая свой ведущий слой — буржуазию нового промышленно-предпринимательского типа. Она чрезвычайно интенсивно впитывала в себя и феодальные классы: низшее служилое дворянство уже с давних пор, после же революции и высшее; она же перерабатывала в новом духе и старое феодальное купечество. Нуждаясь для своего укрепления, для развертывания своей деятельности в средствах, эта торгово-промышленная буржуазия пыталась сначала извлечь таковые из деревни, на первых порах

как будто не вполне разобравшись в наличии там своего собственного эксплуататорского класса — сельской буржуазии, появившейся уже при феодализме, благодаря же революции получившей широкие возможности укрепления. Соглашение между этими двумя слоями, ставшее в конце концов краеугольным камнем для всех дальнейших их взаимоотношений, было заключено за счет крестьянства: ценою установления для него двойной системы эксплуатации — феодальной и капиталистической был достигнут *modus vivendi* этих двух основных слоев японской буржуазии. Именно этот момент, то есть поставление на службу нового капиталистического режима прежних феодальных отношений, в первую очередь именно в деревне, и определил собою ближайшим образом лицо той эпохи промышленного капитализма, которой открывается новейшая история Японии.¹

1

В таком сложном переплете отношений рождалась новая японская литература. Той средой, в которой она зародилась, вместе с которой она выросла и укрепилась, были наиболее передовые части японской буржуазии. Это были люди, являвшиеся рупорами различных ее групп. Они сыграли решающую роль в идеологическом оформлении антифеодального движения, они выработали лозунги революции, они шли теперь и дальше, формулируя и идеологически обосновывая чаяния выступивших на арену широкой деятельности новых социальных слоев, создавая лозунги их то совпадающих, то сталкивающихся интересов. По своему сословному происхождению эти кадры шли не из кругов той городской и сельской буржуазии, которая образовалась еще при феодализме, но из различных прослоек воинского сословия: основная масса их вышла из рядов низшего самурайства, все явственнее чувствовавшего непригодность феодального режима в условиях развивавшегося товарно-денежного хозяйства. Как известно, очень многие из них еще при феодализме принуждены были, в силу невозможности для клана прокормить их, порвать с этим кланом; другие решались, видя рядом обогащающийся класс купцов, порвать эту связь с кланами по собственной инициативе. Укрепившийся, непрерывно богатейший торгово-ростовщический класс, населяя растущие и процветающие города (Эдо, Киото, Осака и др.), со своей стороны предъявлял большой спрос на кадры, могущие обслуживать его возрастающие культурные потребности. Естественно, что именно эти,

¹ Об этом подробнее см. Большая советская энциклопедия, т. 65 в статье Н. Конрада и Е. Жукова, «Новейшая история Японии» (стр. 643 и сл.), а также в статье Ф. Месина «Предпосылка и движущие силы революции Мейдзи» (стр. 635 и сл.).

ищущие нового применения своих сил выходцы, эти деклассированные самураи (ронины) и оказались наиболее приспособленными для того, чтобы стать этими кадрами: они были гораздо образованнее, чем городские лавочники и закладчики; они владели китайской наукой — этой базой для всего японского просвещения того времени; они имели прочные культурные навыки и традиции, связывавшие их и с собственно-японским просвещением. Отсюда — блестящая культура токугавских городов: искусство, проникшее в гущу купеческого быта, художественная литература — повествовательная, драматическая и поэтическая; религиозно-этические учения (Сингаку), приспособленные к новым запросам торгово-ремесленной жизни; педагогические теории и даже естествознание в форме врачебной науки, развивавшейся уже не только на базе одной китайской медицины: наличие голландцев в Нагасаки сказывалось достаточно сильно и в этой области. Этот культурный поток, ширясь и распространяясь, захватил и широкие самурайские круги, вызвав в их среде появление ряда социально-политических теорий, экономических учений, философских и исторических концепций, — все это на базе тщательных филологических и исторических исследований (Вагаку).

Таким образом, выступившая в смутное время буржуазия уже имела свою интеллигенцию, выдвинувшую в нужный момент и своих политических писателей: известна огромная памфлетная литература предреволюционной эпохи, неумоимо и крепко бившая по феодальным порядкам. Именно эти, перешедшие в новую эпоху кадры феодальной интеллигенции, подкрепленные новыми радикальными элементами самурайства, освобожденного теперь от клановых пут и бурно устремившегося к новой деятельности, и составили идеологический отряд новой буржуазии, выступившей как закладыватель основ новой буржуазной культуры.

Разумеется, эти кадры были далеко не однородны, в их среде происходила прежде всего непрерывная передвижка: старые уступали место молодым, прежние деятели новым. Если в 70-х годах на первом плане были еще люди, проделавшие революции непосредственно, с 80-х годов все отчетливее и отчетливее начинает вступать в жизнь поколение, выросшее уже в обстановке, во многом иной, чем их отцы. Кроме того, к моменту их подрастания и эта обстановка успела уже измениться: начала нового буржуазного порядка уже не только восторжествовали, но и успели в известной мере укрепиться. Отсюда и изменение направления их активности, перемена лозунгов: борьба, развивавшаяся для старого поколения вокруг вопроса — быть или не быть феодализму, — для младшего поколения уже развертыва-

лась вокруг вопроса: как строить новый буржуазный режим, кому играть в нем ведущую роль. Если на первых порах для целей антифеодальной коалиции достаточно была ликвидация главнейших феодальных институтов, теперь новая буржуазия переставляла цели своей борьбы дальше, стремясь к расширению своих позиций как в экономической области, так и в политической. Это вылилось в форму так называемого «движения за народные права» (*minken-undo*), поставившего своим лозунгом введение представительного строя. Как известно, этот этап буржуазного развития Японии закончился в 1889 г. установлением конституции. Хорошо известно также, что и этот акт отнюдь не изменил самой сущности нового режима — балансирования сил промышленной буржуазии и помещиков на базе двойной эксплуатации крестьянства и постепенно растущих кадров промышленных рабочих: феодальные элементы, оказавшиеся столь полезными для установления нового порядка в деревне, пригодились и для установления новых взаимоотношений с начинающим образовываться городским пролетариатом; они же, эти феодальные элементы, оказались удобны и для обуздания в нужный момент слишком радикальных тенденций и самой буржуазии.

Неоднородность этих передовых кадров буржуазии сказывалось и по линии примыкания их к тем или иным ее группам. Здесь обнаружилось прежде всего столкновение интересов помещиков, ценой некоторого ущемления которых пыталась сначала укрепить свои позиции нарождающаяся буржуазия промышленная, с этой последней, в своей руководящей части быстро сталкивавшейся с бывшими феодальными верхами и укрепившейся в высших правительственных сферах. Отсюда — радикализм этих первых и известная консервативность второй, наступательные действия со стороны первой и охранительные тенденции со стороны второй. Возможность договориться за счет третьего — в первую очередь крестьянства, в связи с известной слабостью на первых порах самой промышленной буржуазии, обнаружилась в цепи последовательных компромиссов, с одной стороны, и в мобилизации феодальных остатков — с другой. При всем этом, однако, расхождение интересов этих двух групп буржуазии в первые десятилетия нового режима проявляются в интенсивной борьбе, принимавшей по временам довольно острый характер.

В связи с этим и в передовом отряде буржуазии, в ее наиболее активно выступающих кругах, представляющих в наиболее ярком выражении ее общественность, также достаточно резко обозначились эти противоречия.

Таким образом, анализируя состояние этой японской общественности, а в связи с этим и факты японской культуры в первые два десятилетия

нового режима, необходимо учитывать, во первых, те общие перемещения целей и задач, которые выявлялись одновременно с развитием буржуазного режима, перемещения, совпадавшие отчасти с приходом к активной деятельности новых кадров; во-вторых, те различные, зачастую резко сталкивающиеся течения внутри этой общественности, которые явились выражением общей неурегулированности интересов главных групп буржуазии — аграрной и промышленной. При этом необходимо иметь в виду и третье: факт несомненной ведущей роли групп, связанных с промышленным отрядом буржуазии, непрерывно растущим, укрепляющим свои экономические и политические позиции. Именно эти три момента и определяют картину культурного строительства капиталистической буржуазии, в том числе и ее литературу — в годы зарождения последней, т. е. в первые два десятилетия новой эпохи.

2

При всей неоднородности этого передового отряда японской буржуазии, при всем изменении его ближайших целей и задач, один лозунг являлся для него неизменной основой, содержанием всей его деятельности. Этот лозунг — «европеизация».

«Европеизация», — именно такова была задача, поставленная в порядок дня нового капиталистического строительства Японии ее ведущим отрядом, — зарождающейся промышленной буржуазией. Для нее этот лозунг означал и своего рода промышленный переворот — переход к новой технике производства, и новую, капиталистическую организацию этого производства, и новый социально-политический строй, могущий служить орудием для развития и защиты своего господства. Кроме того, эта европеизация должна была служить и еще одной цели: именно этим орудием новая промышленная буржуазия стремилась защититься от опасностей, угрожающих со стороны западного капитала; она начала по возможности прочное и быстрое перевооружение на западный лад; а такое перевооружение, т. е. укрепление собственного капитализма, должно было способствовать предотвращению опасности для Японии превратиться в полуколонию Запада, пример чего, в лице Китая, был у японцев перед глазами. Успешность такого перевооружения в дальнейшем могла — что и случилось три десятилетия спустя — послужить основой не только для защиты от Запада, но и для успешной борьбы с ним (китайско-японская и русско-японская война).

Таким образом, лозунг «европеизация» был лозунгом прежде всего передового отряда японской буржуазии — ее промышленной части и означал

по существу борьбу за скорейшее перенесение и укрепление в Японии капиталистической системы. К этой же системе Японию подвело все предшествующее историческое развитие, к ней же стремился вышедший в годы революции ко власти новый класс. И эта система мыслилась во всех ее подробностях: от организации новой экономической структуры общества до изменения форм прически.

Разумеется, этот лозунг образовался не сразу; равным образом не сразу же он получил и бесспорное признание. Это случилось только тогда, когда промышленный отряд буржуазии стал занимать доминирующее место, т. е. к 80-м годам. До этого мы имеем только постепенную борьбу за него. Годы смуты ознаменовались ожесточенной борьбой сторонников этой европеизации с ее противниками, явившейся внешним выражением той борьбы, которую вели в то время различные общественные группировки. Необходимо напомнить, что подготовка самой революции 1867 г. была проведена под лозунгом «долой иностранцев». В первые десятилетия после революции лозунг европеизации также не имел еще того исключительного значения, которое он получил в 80-х годах. Задачи европеизации, разумеется, уже стояли, как они стояли уже и в годы борьбы с феодальным режимом; однако эта европеизация в полной мере занять внимание и силы новой буржуазии еще не могла: слишком много и того и другого пришлось уделять борьбе с неуспокоившимися еще феодалами, урегулированию отношений в собственной среде. Лишь тогда, когда почва была окончательно расчищена, когда была ликвидирована и последняя попытка феодалов повлиять на создавшееся положение (Сапумское восстание 1877 г.), когда было достигнуто первое соглашение аграрного и промышленного крыла новой буржуазии, буржуазия смогла все свои силы направить на капиталистическое строительство в широком масштабе. В связи с этим и приходится сказать, что лозунг «европеизация» во всей своей полноте и силе предстал перед японским обществом только в конце 70-х и начале 80-х годов. Тогда же, в момент своего апогея, он вызвал к жизни и свою противоположность — лозунг «возвращение к национальному».¹

Развитие процесса европеизации Японии — есть развитие так называемого просветительного движения в первую очередь. Просветительная работа — таково было в первое время основное направление деятельности «идеологического отряда» новой буржуазии. Нетрудно, конечно, увидеть,

¹ Несмотря на частичное совпадение во времени этих двух моментов, в данной статье прослеживается лишь первый, как имеющий самостоятельную историю. Анализ второго и рассмотрение его борьбы с первым — задача другой статьи.

что такая работа отнюдь не ставила перед собой академические цели — так сказать, расширение умственного кругозора японцев того времени. Она имела совершенно четко поставленные, вполне конкретные задачи, вернее — одну двухстороннюю задачу: борьбу с феодальными порядками во всех областях, с одной стороны, и агитацию за капиталистический строй во всем его объеме — от технической стороны производства до мировоззренческих вопросов — с другой. Просветительное движение было одним из важнейших орудий в борьбе новой буржуазии за установление своего строя, наилучшим средством самовооружения. И поскольку тот капиталистический строй, который насаждался в эти годы, был в основе своей тем же, на который Европа прочно вступила с конца XVIII в., постольку конкретное свое содержание это просветительное движение естественно черпало с Запада.

Однако это понятие «Запад» для Японии той эпохи требует уточнения. Для японцев, вышедших после революции к новому порядку, этот Запад предстал прежде всего в образе Англии, Америки, Франции и отчасти России. Эти государства были теми силами, с которыми Япония столкнулась; именно они могли представлять для нее наибольшую угрозу.

В самом деле: Англия, давно уже продвигавшаяся на Восток и закрепившаяся в Китае, после окончательного упрочнения там своих позиций, происшедшего в результате опиумной войны 1839—1842 гг., пыталась в известной мере распространить свое влияние и на Японию. Отвлеченная событиями в Китае (восстание Тайпинов 1850 г., войны 1856—1858 гг.), она не могла развить свою экспансию достаточно энергично, не говоря уже о том, что Япония представляла для нее сравнительно с Китаем меньший интерес. Но все же ее участие в смуте, предшествовавшей революции, когда она активно поддерживала югозападные кланы в их борьбе против Эдосского правительства, не подлежит сомнению. Равным образом, несколько коснулась Японии и французская экспансия — тоже как известное отражение действий этой державы в Китае. Известна попытка Наполеона III закрепиться в Японии путем соглашения с Эдосским лагерем, помощь ему инструкторами, орудиями, боевыми припасами. Про Америку нечего и говорить: за ней прочно установилась репутация «открывшей Японию» (военная экспедиция Перри 1853 г.); равным образом известно ее участие и в дальнейших событиях, например, совместное выступление с Англией, Францией и Голландией против клана Тёсю (бомбардировка Симоносэки 1863 г.). Попытки России, в связи с деятельностью Русско-американской компании

проникнуть в Японию также общеизвестны: Россия в течение долгого времени считалась в Японии даже самой опасной из всех западных держав. Конечно соприкасалась Япония — и уже с давних пор — и с Голландией, но с этой стороны ничего особого не грозило. Таким образом тот Запад, с которым Япония столкнулась наиболее ощутительно для себя, слагался из САСШ, Англии, Франции и России.

Такая ситуация, сложившаяся в политической сфере, сразу же отразилась и в культурной. Те самые державы, которые больше всего угрожали Японии, превратились и в ее учителей. Европейзация для Японии означала приближение к тому положению, которое существовало именно в этих странах.

Однако, влияние этих западных держав было далеко не однородным ни в смысле сфер воздействия, ни в смысле силы. Не надо забывать, что общий курс, который наметился для Японии, был совершенно ясен: переход к капиталистическому строю. В Японии создавался промышленный капитализм. Поэтому, основными странами-образцами была Англия и Америка, в особенности первая, как страна в ту эпоху, с 50—60-х годов, переживавшая самый блестящий период своего развития, бывшая безусловно наиболее передовой капиталистической страной во всем мире, уверенно шагавшей в самых отдаленных частях света. Молодой японский капитализм видел в английском капитализме наиболее совершенные для себя образцы; английская экономическая система, а за нею и весь социально-политический строй были идеалами для начинающих тот же путь японцев. Отсюда колоссальное влияние именно Англии, ее строя, ее идей, ее языка. Значение Америки было несколько иное. Оно базировалось прежде всего на сравнительной близости этой страны к Японии: Запад открывался для Японии в наиболее доступном виде именно с этой стороны. Поэтому Америка, независимо даже от своей собственной роли, была именно таким путем на Запад и первым ключом к нему. Кроме того, ее демократизм в те времена производил сильнейшее впечатление на радикально настроенных японцев. Известно, например, то исключительное впечатление, которое произвело среди привыкших к феодальным понятиям японцев известие о том, что в САСШ любой рядовой гражданин может стать во главе государства.¹ Однако, строительство японского капитализма нуждалось в этих демократических идеях в достаточно малой степени. Они сыграли известную роль в подготовке революции, они фигурировали некоторое время и после нее, но потом ока-

¹ К. Fujiwara. Meiji Kyōiku shisō shi, М. 42 г., стр. 33.

зались для новой японской буржуазии ненужными; даже то ее течение, которое представляется в те времена наиболее радикальным — японский либерализм, и оно питалось скорее английскими и французскими идеями, чем американскими, не говоря уже о том, что даже и тут этот японский либерализм существенно отличался от английского: он был движением прежде всего политическим, не имея аналогичных английскому самостоятельных корней в экономических процессах.¹

Влияние Франции также не пошло далеко вглубь. Идеи великой французской революции попали в Японию, но действие их едва только обнаруживается на некоторых небольших участках борьбы в предреволюционную эпоху и ближайшие после революции годы.² Правда, в дальнейшем в начале 80-х годов мы имеем сильнейший взрыв французского влияния (идеи Руссо); либерализм тех лет чуть ли не выступает прямо с лозунгами естественных прав, но все же особенно прочной связи с действительным содержанием движения это влияние не имело. Россия также вряд ли могла что-нибудь дать новой Японии. Русский капитализм никак не мог служить в те времена для нее образцом. Влияние России сказалось значительно позднее и при том в ограниченной области.

Таким образом, понятие «Запад» для Японии в первое десятилетие после революции выступало главным образом в лице Англии и Америки. Такое же положение в основе оставалось неизменным и в 80-х годах, с некоторым присоединением только Франции. Англо-американский капитализм был образцом для Японии в течение долгого времени. Отсюда англо-американская печать на всем в Японии в эти годы и в первую очередь на процессе европеизации, на всем просветительном движении.

3

В чем заключалась ближайшая задача просветительного движения? Как было уже сказано — в борьбе со старым порядком и в пропаганде нового строя. Наиболее легким способом для этого было простое ознакомление японцев с Западом, с теми порядками, которые там существуют. Поэтому, основным орудием, которым пользовалось это просветительное движение, была популяризационная литература, в легкой доступной форме рассказывавшая о том, что делается на этом пресловутом Западе. Колоссальное развитие именно такой литературы — с одной стороны, общеобразователь-

¹ Об этом подробнее смотри ниже, стр. 26 и сл.

² Ср. между прочим события в Хакодате. О развитии идей народоправства вообще в Японии в революционные годы см. Т. Оса, *Jashin zengo ni okeru rikken shisō*.

ной, поскольку она рассказывала о достижениях европейской науки, с другой стороны — политической, поскольку она агитировала за определенный режим, — и составляет содержание эпохи, особенно в первые десятилетия нового режима. Она представляла собой то изложение виденного и слышанного на Западе, то переделку или пересказ какого-нибудь западного автора, то простой перевод. Такие работы, естественно, исходили от людей, в какой-то мере уже знакомых с Западом. Здесь мы встречаемся с именем человека, который может считаться одним из идейных провозвестников всей последующей эпохи, идеологическим основоположником японского промышленного капитализма — Фукудзава Юкити.

Фукудзава выступил на арену общественной деятельности для того времени во всеоружии: он больше, чем кто-либо, был в курсе западных дел. В молодости, еще при Токугава, он изучал «голландские науки», пользуясь той отдушиной в Нагасаки, через которую проникла в закрытую со всех сторон Японию европейская культура. Он широко воспользовался той свободой, которая появилась в сношениях с внешним миром после открытия портов (1858 г.), тем потоком европейских знаний, который в Японию с этого времени хлынул. Он успел приобрести знание английского языка, доставившее ему возможность попасть на Запад, присоединившись в качестве переводчика к посольству феодального правительства в 1859 г. в Америке. Вместе с таким же посольством в 1861 г. он снова уезжает за границу, на этот раз в Европу. В 1867 г. он опять в Америке, где на этот раз уже обстоятельно знакомится с порядками, царившими в этой стране. Естественно, что в те годы, когда все самое передовое в Японии потянулось к Западу, такой человек, как Фукудзава, оказался как нельзя более нужен. С своей стороны он целиком примкнул к наиболее радикальным кругам новой буржуазии и сделался глашатаем их интересов и чаяний.

Время делало то, что всякое, казалось бы самое «культурническое» выступление Фукудзава приобретало политическое значение и имело успех, оказывалось нужным именно потому, что вооружало его класс в происходившей борьбе. Фукудзава показал, что самый обыкновенный учебник географии может служить политическим оружием. В 1869 г. он опубликовывает «*Sekai kuni-zukushi*» («Все о государствах мира»), где пересказывает содержание популярных европейских учебников географии. Он прекрасно сознавал, что элементарное ознакомление с тем, что есть за рубежом, с политическим и социальным строем капиталистических государств может сыграть организующую роль, способствовать оформлению устремлений восходящего класса. То, что он это хорошо сознавал, явствует не только из

содержания его работы, но и из ее формы: чтобы сделать это содержание более доступным, популярным, чтобы не отпугнуть читателя скоплением непонятных названий и понятий, он придает ему стихотворную форму. Таким образом, старый японский стиховой размер — чередование пяти- и семи-сложных стихов — служит делу разрушения того строя, которым этот размер был создан и бережно храним. С этой точки зрения Фукудзава, как автора такой географии, можно пожалуй считать провозвестником и будущей японской поэзии, так называемой Синтайси, т. е. поэзии, использовавшей для новых идей и образов старый японский метр.

Гораздо большее значение из работ Фукудзавы имеет его книга «Seiyō-jijō» («Описание Запада»), изданная в 1869 г. Она разошлась в небывалом для Японии количестве: первое издание ее вышло в количестве 150 тысяч экземпляров, а вместе с перепечатками достигла до 250 тысяч.

О чем сообщал в этой работе Фукудзава? Здесь доминирует уже совершенно определенное содержание: он рассказывает, что такое избирательное право, что такое банки, почтовая система, воинская повинность; говорит о правах и обязанностях человека как гражданина государства толкует даже о договоре между государственной властью и народом; проповедует систему всеобщего обязательного начального образования и притом равного для всех, «независимо от знатности или незнатности, богатства или бедности, для мальчиков и девочек одинаково». Другими словами, если его первая работа давала сведения по физической и политической географии мира, здесь уже совершенно явственно преобладает общественно-политический материал, излагаются не только конкретно-действующие установления капиталистического мира, но и его идеалы, последние — в духе того буржуазного демократизма, который характеризует эпоху расцвета промышленного капитализма в Европе, и в частности в духе той демократии, которая установилась в Америке. Там он агитирует самим материалом, здесь он уже определенно выступает сам как пропагандист определенных политических идей.

Влияние этой небольшой книжки Фукудзавы было огромно. Она послужила как бы учебником для нового поколения общественно-политических деятелей Японии. Этот учебник равным образом был в руках тех, кто действовал на правительственных постах, так и тех, кто предпочитал или был вынужден работать на чисто общественной арене. Можно сказать, что книжка Фукудзавы способствовала оформлению многого в строящемся японском капитализме, не говоря уже о той роли, которую она сыграла в деле повышения интересов к Западу и в расширении знаний о нем.

Фукудзава на этом не остановился. В 1872 г. он начинает выпускать серию под названием «Gakumon-no susume» («Призыв к науке»). Издание продолжалось до 1876 г., всего вышло 17 выпусков. Первый выпуск вместе с перепечатками вышел в количестве 220 тысяч, а общее количество составило около 700 тыс. экземпляров — цифра для Японии тех времен совершенно исключительная. Это отмечается в предисловии к позднему изданию (1880 г.) самим Фукудзава, с гордостью пишущим: «если считать, что первый выпуск в основном издании и перепечатках разошелся в количестве 220 тыс. экз., то при населении Японии в 35 миллионов человек, оказывается, что каждый 160-й японец читал эту мою работу. Такой тираж является небывалым для нашей страны, из чего и можно усмотреть как стремительно пошло вперед у нас просвещение».

Эта работа Фукудзава является не только, так сказать, общеобразовательной, как первая, не только описательной, каковой все-таки, по преимуществу, является вторая, но в известной степени и философской. В ней Фукудзава не только рассказывает, но и рассуждает по разным принципиальным вопросам, — конечно только по таким, которые являлись для того времени наиболее важными. Основное назначение всей работы — призвать его поколение к изучению европейских наук, к новому просвещению. Но для того, чтобы этот свой призыв обосновать, автор пускается в рассуждения и о том, почему нужно всем стремиться к просвещению, и о том, почему нужно изучать именно европейские науки. Эти его принципиальные высказывания настолько характерны, что нельзя не привести их здесь в более или менее обширных выдержках.

Первое основное положение, прочно усвоить которое автор призывает своих современников, это то, что «все люди — равны».¹

«Небо не создает одних людей выше других; оно не создает одних и ниже других. Небо создает людей с тем, чтобы все они были равны между собой, не знали различия между знатностью и незнатностью, высоким положением и низким; с тем, чтобы они жили в этом мире, действуя своим телом и душой — этим наисовершеннейшим из всего, что есть в природе; пользовались всем, что существует на земле, обращали его в свою одежду, пищу, жилище; с тем, чтобы каждый свободно и самостоятельно, не мешая другому, жил в этом мире наслаждаясь».

Нетрудно установить корни той горячности, которую проявляет Фукудзава всякий раз, как заходит речь на эту тему. Проблема социального

¹ В дальнейшем цитаты — из «Gakumon-no susume».

неравенства была одной из самых актуальных для того времени. Ее источник — правовой строй эпохи Токугава, сначала закрепившей, а потом ставшей всякими способами поддерживать систему четырех сословий. Феодальное право именно в форме этой системы определило на своем юридическом языке те общественно-производственные отношения, которые создал феодализм. Оно установило четыре сословия: воинов, земледельцев, ремесленников и купцов; поставило на первом месте господствующий класс — феодальное дворянство, на втором — крестьян, т. е. тот класс, на котором держалось все хозяйство страны, и который был ближайшим объектом эксплуатации; на третьем месте стояли ремесленники, обслуживавшие это дворянство в другом отношении; наконец, на самом последнем месте стали купцы. Таким образом, наиболее юридически бесправным было сословие купцов; дело доходило до того, что всякий самурай мог безнаказанно убить любого горожанина. Такое их положение ни в какой мере не соответствовало фактическому положению в стране: в руках купцов, как скупщиков риса — этой главной ценности страны — скапливались огромные средства, дававшие некоторым из них возможность вести образ жизни настоящих князей; весь пышный расцвет городов эпохи Токугава обусловлен именно этим богатством феодального купечества. Фактически они держали в своих руках, как ростовщики и банкиры, — самих князей, не говоря уже о самураях (*hata-moto*). Поэтому это недавнее юридическое положение этого класса, выпавшего после революции на широкую дорогу, начавшего строить свое государство, делало очень острой проблему социального неравенства. На этой почве и возникло то движение за «уравнение в правах», которое развернулось после революции и привело в 1871 г. к торжественному прокламированию «равенства всех четырех сословий» (*shimin-byōdō*). В дальнейшем была введена ныне существующая система трех сословий — титулованной аристократии (*kazoku*), дворянства (*shizoku*) и «простого народа» (*heimin*), закреплявшая за бывшим феодальным дворянством некоторые преимущества, главным образом в политической области и в бытовой, но никак не мешавшая хозяйственной деятельности нового господствующего класса.

Прокламирование «равенства четырех сословий», конечно, не разрушило и не могло разрушить веками укрепленное неравенство. Несмотря на видимый радикализм социальных реформ, предоставлявших равноправие даже тем слоям населения, которые до сих пор считались стоящими вне всякого общества — париям (*eta* и *hinin*), фактически за осуществление этого равноправия нужно было еще бороться. Не говоря уже о париях, которым приходится бороться за свои человеческие права вплоть до настоя-

щего времени, и от самой новой буржуазии требовалось еще много усилий для установления фактического равноправия — в государственной службе, политической деятельности, в быту. Юридически введенное равноправие нужно было осуществлять, и в первую очередь — его пропагандировать. Вот эту работу и проделывали публицисты того времени, в первую очередь — Фукудзава.

Декларируя принципиальное, естественное равенство всех людей, Фукудзава переходит к рассмотрению фактического положения вещей:

«Если мы теперь взглянем на мир, что мы увидим? Одни — умные, другие — глупые; одни — богатые, другие — бедные; одни — знатные, другие — низкие: эти различия подобны различию неба и земли».

Констатируя факт неравенства, автор сейчас же задает вопрос: «Отчего это так?» и отвечает следующим образом:

«Причины этого ясны. У нас говорят: если человек не учится, у него нет знаний; кто же не имеет знаний, тот невежественен. Это значит, что причина различия между разумными и глупыми коренится в том, учился человек или нет. В самом деле: есть на свете дела трудные и легкие; кто делает трудное дело, тот занимает почетное положение; кто делает легкое — низкое. Считается, что трудное дело — это то, что делается разумом; легкое дело — это то, что делается руками и ногами. Поэтому врачи, учителя, чиновники, купцы, ведущие большую торговлю, богатые крестьяне, имеющие многих работников, занимают почетное положение и считаются благородными. Когда же человек занимает почетное положение и считается благородным, то и дом его, естественно, богат, и со стороны стоящих ниже положение его представляется совершенно недостижимым. Но если посмотреть в корень вещей, окажется, что различие это возникло только оттого, есть ли у человека сила знания или нет, а вовсе не оттого, что так положило Небо. Пословица гласит: Небо не дает знатности и богатства человеку; оно дает их его работе. Поэтому, как я и сказал, человек от рождения — ни знатен, ни низок, ни богат, ни беден. Если он учится и познает вещи, он становится знатным, если нет — становится бедняком, низким».

Так разрешает вопрос о происхождении неравенства людей Фукудзава, совершенно в духе того просветительства, которое составляет в то время идеологическое содержание эпохи. Просветительство это имело своим назначением скорейшее вооружение буржуазии для борьбы с феодальным наследием, с одной стороны, для построения нового капиталистического строя, с другой. Лучшим и, строго говоря, единственным орудием для этих целей являлась европейская капиталистическая цивилизация, и прежде всего ее

наука, указывавшая пути организации новой хозяйственной и политической жизни, в первую очередь — на новой технической базе. Естественно поэтому, что для тех кругов, глашатаем которых был Фукудзава, усвоение европейских наук было действительно средством ликвидации «неравенства», т. е. способом закрепления за собой прочных экономических и политических позиций. Поскольку же эта новая наука, как служащая капитализму, была враждебна феодальному просвещению, поскольку это феодальное просвещение в свое время довело над всем в Японии, в том числе и над новой буржуазией, постольку и пропаганда новой науки была одновременно и борьбой со старой.

«Наука, — говорит Фукудзава, — не заключается в том, чтобы запоминать трудные иероглифы, разбираться в малопонятных старых книгах, наслаждаться старинной поэзией, сочинять китайские стихи, т. е. заниматься бесполезной для жизни литературой. Конечно, и эта литература доставляет людям удовольствие, являясь вещью чрезвычайно достойной. Но все же ее нельзя так возвеличивать, как это делали конфуцианцы и национальные ученые прежних времен. Мало кто из китаеведов тех времен умел жить в этом мире; точно так же редко можно встретить горожанина, умеющего писать стихи и в то же время искусного в торговых делах. Поэтому умные горожане и крестьяне, замечая, что их дети стремятся к учению, приходили в своем родительском сердце в беспокойство, полагая, что их дети этим только погубят себя. И такой взгляд был совершенно правилен. Это только доказывает, что та наука была далека от практической жизни и не отвечала повседневным нуждам. Поэтому такая наука должна быть отставлена на второе место; та же наука, которую только и нужно изучать, есть наука практическая, близкая к повседневным, обычным нуждам людей».

Совершенно ясно, против чего направлена тирада Фукудзавы: она бьет по старому феодальному просвещению и при том одинаково — как по так называемой китайской науке (кангаку), так и по национальной науке (вагаку). Он протестует как против конфуцианской схоластики, во что вылилась в эпоху Токугава наука господствующего класса — дворянства, так и против того узко-филологического направления, которое приняло другое течение науки того времени — изучение родной старины, бывшее идеологическим знаменем недовольных феодальным режимом. Протест этот вполне обоснован уже тем, что как то, так и другое направление феодальной науки по своему существу было глубоко противоположным европейской системе знаний, с ее эмпиризмом, исследовательским духом. Кроме того, старое феодальное просвещение не включало в свой состав естествознания

в научном смысле этого слова; оно игнорировало и все те области знания, на которых основаны технические науки. Иными, словами, старая наука уже поэтому не была пригодна для новой эпохи. И еще более непримлемой она была политически. Токугавское конфуцианство обладало строгой социально-политической и этической системой, но эта система была система феодальной, приспособленной к тем идеям, которые ставила перед собой наиболее консервативная часть господствующего класса. Именно эта система во вторую половину Токугавского режима играла серьезную роль в задержке развития тех идеологических тенденций, которые постепенно подрывали феодализм и в конце концов его подорвали. Национальная наука Токугавской эпохи, отражавшая идеалы радикальной части самурайства и в известной мере городской буржуазии, имела для того времени прогрессивное значение и сыграла, как известно, огромную роль в формировании той идеологии, которая была противопоставлена впоследствии феодальной и явилась идеологическим знаменем всех выступивших против феодализма. И несмотря на это, она была теперь, по крайней мере на первых порах, также не только не нужна непосредственно, но в известной мере и политически опасна, поскольку ее идеалы, как истории, религии, так и литературного исследования, звали назад к «идеальному состоянию» до-феодальной эпохи, реконструируемой при этом не научно исторически, а в духе антифеодальной идеологии Токугавских времен.¹ В период борьбы с феодализмом такая идеология была полезна, как заключающая в себе огромную взрывчатую силу. После падения феодализма для целей нового капиталистического общества она не давала ничего. Наоборот, призывая назад к исконному национальному строю VII—VIII вв., мешала свободному развитию капиталистического режима. Поэтому, протест Фукудзава, направленный против прежней науки за ее схоластический и филологический, далекий от практической жизни характер, связан несомненно и с серьезным политическим основанием.

Но так или иначе, больше всего Фукудзава говорит о старой науке с точки зрения ее непригодности для практических нужд. Крайне характерно, что говоря о практических нуждах, он касается в сущности двух категорий людей, практические нужды которых не удовлетворялись старой наукой: горожан и крестьян. Если принять во внимание его предыдущую тираду, где он выражается точнее: «купцы, ведущие большую торговлю» и «богатые крестьяне, пользующиеся многими работниками», — становится

¹ Впоследствии (в конце 80-х годов) эта идеология была снова оживлена и превратилась с известными приспособлениями и изменениями в официальную.

совершенно ясным, что он беспокоится о нуждах тех двух категорий новой буржуазии, которые играли основную роль в революционный период: о нуждах сельской буржуазии, из которой выросла потом аграрная, и о нуждах городской, в первую очередь торговой, из которой впоследствии выросли и кадры промышленников. Другими словами, речь идет о двух основных крылах нового господствующего класса. И как новой буржуазии в целом, так в особенности ее промышленному отряду, действительно была нужна практическая наука, а не утонченная схоластика китаеведов-конфуцианцев или изощренные филологические изыскания или философско-исторические построения историков и богословов Токугавской эпохи.

Какую же науку противопоставлял Фукудзава этой старой? Он начинает с очень элементарного: «Прежде всего — это умение писать, умение составлять деловые письма, вести счет, обращаться с мерами и весами, а в дальнейшем — и многое другое». Это «многое другое» перечисляется им тут же: «География есть руководство ко знанию того, что есть в Японии, затем во всем мире. Естествознание есть наука, обучающая людей наблюдать природу вещей в этом мире и знать их действие. История освещает и подробности хода времен и исследует то, что происходило в различных странах в древние и новые времена. Экономика учит ведению хозяйства отдельного человека и семьи, и кончая хозяйством всего мира. Этика учит поведению, излагает естественные законы, которые необходимо соблюдать, живя в этом мире». Другими словами, — особенно если учесть его высказывания в других местах, — Фукудзава агитирует за европейскую науку, особенно в тех ее частях, которые относятся к физике и естествознанию — как базе новой техники, и к экономическим, политическим и этическим доктринам — как выражению нового экономического и социального строя. Однако и тут Фукудзава допускает опасность изучения этих наук академически, самих по себе. В другом месте¹ он говорит об этом очень красноречиво:

«В школе умеют считать, знают математику, а в магазине свести простой счет не могут. Писать сочинения — мастера, а составить обыкновенное письмо не могут. Физику изучают, а как устроить кухонный очаг, сток для воды — не знают. Химию проходят, а как готовят водку или как делается тофу и не слыхали. Или так: двенадцати-тринадцатилетние девушки поступают в школы, где преподают по-европейски; учатся там у европейцев, научаются петь песни на европейский лад, вышивать на

¹ Цитирую по статье Н. Takasu: *Ōka-shugi-no bungaku to kokusui-shugi-no bungaku Nihon bungaku kōza*, т.13).

европейский манер, а как шить обыкновенный мешок — не знают. Или так: читают и по-японски, и по-китайски, и по-европейски, умеют слагать немножко и стихи, а об изучении самих себя забывают, не знают, какие у них кости в теле; простудятся и заболеют и не умеют определить свое состояние».

Любопытно, что автор дает и ряд практических советов, как приступать к овладению этой новой наукой:¹

«Для прохождения всех этих наук нужно изучать переводные европейские книги; как правило, пользоваться при этом японским алфавитом — бана, но молодых — тех, кто способен, заставлять писать и по-европейски».

И затем, снова возвращаясь к своей основной теме — пропаганде практических знаний, он говорит: «В каждой области знаний, в каждой науке нужно брать практически нужное; изучая какую-нибудь вещь, какое-нибудь дело, исследуя законы этих вещей и дел, обращать их на нужды сегодняшнего дня. Это и есть повседневная практическая наука, и если люди, независимо от своего положения, уяснят себе, что именно ее то и следует изучать, то, уяснив себе это, смогут потом — кто бы они ни были: воины, земледельцы, ремесленники или купцы — исполнять свое назначение, делать свое дело, быть независимыми. Тогда и государство также будет независимым».

Здесь Фукудзава договаривается до центральной мысли своей социально-политической философии. Как цель овладения практической наукой он выставляет достижение независимости как личной, так и государственной. Если скорейшее овладение европейской наукой было действительно актуальнейшей проблемой строящегося капиталистического режима в Японии, то не менее огромное значение имела и проблема независимости. В устах новой буржуазии она означала свободу инициативы, свободу действий, возможность беспрепятственно строить свое хозяйство, достигать своего классового благополучия без помех с чьей бы то ни было стороны. В общегосударственном масштабе она означала освобождение от угроз со стороны Запада, от наступления европейско-американского капитала, от опасности закабаления с его стороны. Как известно, как в течение революционного периода, так и в последующие годы эта опасность Запада японцами ощущалась непрерывно. Однако, в эти годы думать о какой-либо борьбе с Западом было еще немыслимо: слишком слаба была еще новая буржуазия, слишком много было еще дел внутри страны, слишком сложен

¹ В дальнейшем снова цитаты из «Gakumon-no susumê».

был переход к новому капиталистическому режиму. Поэтому, на данном этапе развития капиталистической Японии думать о прямой борьбе за независимость не приходилось. Лучшим средством в этом направлении для этого этапа являлось именно то, к чему призывал Фукудзава: овладение западной наукой. И Фукудзава так и ставит вопрос, давая отпор всяким тенденциям иного порядка:

«Наша Япония представляет собою далекую островную страну, находящуюся к Востоку от материка Азии. В прежние времена она не вступала в сношения с другими государствами. Она питалась и одевалась тогда только тем, что порождала ее земля, и не чувствовала ни в чем недостатка. Но с прибытием в годы Кан'эй (1853 г.) американцев началась торговля с иностранными государствами, и дело дошло до того, что мы сейчас видим перед собой. Однако, и после открытия портов возникали различные споры, появлялись люди, настаивавшие на закрытии страны и изгнании иностранцев. Но их взгляды очень узки. Эти люди — по пословице — „подобны лягушке на дне колодца“; принимать в расчет их мнений не следует. И наша Япония находится в том же самом мире, освещается тем же солнцем, любитесь той же луной, плавает по тому же морю, дышит тем же воздухом. И чувства людей — одни и те же повсюду. А если так, нужно отдавать другим то, что есть излишнего у тебя; брать от других то, что есть лишнего у них; друг друга учить, друг у друга учиться, не стыдиться, не гордиться, считаться с выгодами каждой стороны, стремиться к счастью каждой; общаться друг с другом, следуя Небесному Закону и Человеческому Пути. Ради этого Закона уступать хотя бы черным африканским рабам; ради этого Пути не пугаться даже военных кораблей Англии и Америки. Если стране грозит унижение, всем без исключения жертвовать своей жизнью, но не допускать ущерба мощи своего государства. Вот что и может быть названо Свободой и Независимостью».

Таким образом, даже из этих отрывков становятся ясными как общие установки самого Фукудзавы, так и связь их с задачами нового класса на данном этапе его развития. Фукудзава был представителем наиболее передовых его тенденций, глашатаем целей и интересов тех широких кругов новой буржуазии, которые выходили в то время на арену интенсивной деятельности. Страстность и горячность, с которыми он борется со всем старым, заставляет его иногда впадать даже в чисто эпатажирующий тон:

«Кусуноки Масасигэ слывет у нас образцом героя, равного которому нет ни в прошлом, ни в настоящем. Но умереть при Минатогава, когда

можно было бы не умирать, это значит уподобиться Гомбэю, повесившемуся на собственном фундоси».

Такую тираду Фукудзава обращает против самой основы старого феодально-дворянского мировоззрения — против тезиса о необходимости в любую минуту, не вдаваясь в рассуждения о целесообразности этого, пасть за своего сюзерена. Вместо идеи беззаветной вассальной преданности он выдвигает принцип полезности поступка для общего дела. В проповеди приоритета такой целесообразности и в своем стремлении объяснить условность ее в зависимости от исторической обстановки он доходит даже до совершенно необычайно для того времени звучащих утверждений:

«Когда вассал служит сразу двум господам, когда воины из Косю служили Токугава и в то же время другим, в тех условиях это не шло вразрез с Небесным Законом и Человеческим Путем. Когда молодая вдова остригает волосы и уходит в монастырь, оплакивает там умершего мужа, это — Небесный Закон и Человеческий Путь; когда она снова выходит замуж, рождает ребенка и воспитывает его, это тоже — Небесный Закон и Человеческий Путь. Что, если в наше время брат и сестра поженились бы друг с другом? Сказали бы, что это идет вразрез с Небесным Законом и Человеческим Путем. Ну, а на ком женились, за кого выходили замуж дети Адама и Евы? И у нас в Нихонги рассказывается, как император Нинтоку взял в жены принцессу Ята. А ведь эта принцесса была его младшей сестрой. С нынешней точки зрения это кажется необычным, для того же времени это был самый настоящий Небесный Закон и Человеческий Путь».

Зависимость воззрений Фукудзавы от европейских понятий и представлений, мне думается, совершенно ясна — как из всей его деятельности, всего его направления, характера его работ, так и из различных его высказываний. Он не только проповедывал европеизацию, не только популяризировал европейские знания, но и сам стоял целиком на позициях европейской буржуазной идеологии. И здесь, несмотря на то, что в его высказываниях проглядывают нередко самые разнообразные влияния, все-таки мы можем сказать, какая именно европейская идеология отразилась в нем с наибольшей силой. Это — утилитаризм XIX века, в основе своей английский, но с известными добавлениями и со стороны Америки. Англо-американский утилитаризм — так может быть охарактеризована идеологическая установка Фукудзавы и его соратников. С этой точки зрения очень характерно одно — и притом наиболее принципиальное высказывание Фукудзавы:

«И на Западе и на Востоке» — говорит он — «в равной мере существуют этические учения, экономические учения. И там, и здесь, в области гражданского просвещения и военного искусства есть свои достоинства и недостатки. Однако, если исходить из общего состояния страны, то как по богатству и военной силе, так и по тому, что там наибольшее счастье дается наибольшему количеству людей, Запад должен быть поставлен выше Востока. Но сила государства зависит от того, каково в нем просвещение. Поэтому и необходимо обратиться к просвещению там и здесь. Если сравнить восточное конфуцианство с западным просвещением, то окажется что Востоку недостает: в области конкретных знаний — математики и естествознания, в области отвлеченных принципов — чувства независимости. А как то, так и другое человечеству необходимо решительно во всем. Поэтому, если мы хотим, чтобы Япония сравнялась с западными державами, мы должны всеми силами изгонять из нашей страны конфуцианское просвещение».¹

В этих словах отражена не только общая установка утилитаризма — эмпиризм, ориентация на естественные науки, не только его этический уклон и политическая доктрина, но дана даже и конкретная формула основного принципа его социально-политической философии в том виде, в котором ее выработал Бентам: наибольшее счастье для наибольшего количества людей. И такая зависимость, конечно, не случайна.

Англия Викторианской эпохи представляла собою, несомненно, самую передовую капиталистическую страну в то время. Переход на капиталистические пути был осуществлен полностью; развертывался процесс быстрого обогащения господствующих классов путем интенсивного развития промышленного, торгово-колониального и финансового капитала. Этот капитализм нес с собою и новое политическое устремление — либерализм. Этот либерализм одерживал один успех за другим: в политической области — расширение конституции в буржуазно-демократическом духе, в области торговой политики — торжество фритреда. Идея свободной торговли соединялась с прочими свободами — личности, слова, собраний, союзов. Естественно, что эта передовая капиталистическая страна оказала сильнейшее влияние на отсталую, но ступившую на тот же путь Японию. Страна, бывшая в расцвете своего капиталистического развития, была образцом для страны, находившейся в начальной его стадии. Естественно, что и господствующая в ней форма идеологии оказалась могущественным факто-

¹ Ср. Tetsugaku-daijisho, т. III, стр. 2496 (1-ое изд.).

ром, формулирующим мировоззрение новой японской буржуазии, при этом не столько той ее части, которая находилась под особым покровительством государства, пользовалась его средствами, а тех широких кругов, которые все большими массами подходили к предпринимательской деятельности и стремились обеспечить себе наибольший для этого простор. Эти круги и составили одно из наиболее активных звеньев тогдашней японской буржуазии и естественно, что идеологическим знаменем их и стал английский утилитаризм.

Необходимо однако подчеркнуть, что японский либерализм как в этой своей начальной стадии, так и потом, в 80-х годах, когда он развернулся полностью, отнюдь не является простым воспроизведением форм английского. То положение, в котором находится английский капитализм, и то, в котором пребывал в эти годы японский, отличались друг от друга не только количественно, в том смысле, что Англия находилась на высокой ступени капиталистической лестницы, Япония же — на одной из ее первых ступеней. Англия переживала полосу утверждения фритредерства, вызванного к жизни как внутренними условиями развития английского капитализма, так и его внешней обстановкой. Фритредерство и его социально-политическая доктрина — либерализм явились органическим этапом в развитии английского капитализма вообще. Иначе обстояло дело в Японии. В ней еще не было никаких серьезных экономических предпосылок для этого течения. Либерализм для японцев был политической доктриной, орудием политической борьбы, и притом, особенно вначале, — отнюдь не за фритредерские цели.¹ Поскольку нам известно из истории японского капитализма, его первый этап, его становление совершилось в известной мере за счет государственного покровительства. Новая буржуазия, появившаяся, как было указано выше, в конце Бакуфу, в особенности та ее часть, которая первые свои шаги по пути обогащения сделала, обратив на свою пользу междоусобные столкновения, и поэтому с самого начала тесно соприкасалась с правительственными кругами, нуждалась для дальнейшего расширения своей деятельности в средствах. И эти средства она черпала из государственного казначейства, из тех сумм, которые государство выжимало из населения, прежде всего из крестьян, отданных в двойную феодально-капиталистическую эксплуатацию. В известной мере нуждалось в оборотных

¹ Пропаганда идей «свободной торговли» велась группой Taguchi (Ukichii); ср. его работу: «Jiyū-boeki; Nihon keizai-gon» (1878 г.); однако эти идеи наткнулись на яростную критику группы Фукудава; с ними же боролся тогда и недавний председатель Сэйюкай Инукаи (в «Tōkai keizai shimpō»).

средствах и то старое купечество, которое хотя и имело в своем распоряжении крупные накопления, но тем не менее нуждалось для перехода к промышленности в дополнительных средствах. Поэтому в первые десятилетия нового режима развитие японской промышленности идет при интенсивной помощи государства. Сначала первое десятилетие эта связь новой промышленной буржуазии с государством настолько еще тесна, что большинство предприятий, организуемых в то время, выступает прямо в облике государственных. В истории экономической политики Японии эта полоса (1867—1877 гг.) так и называется периодом образцового правительственного предпринимательства. В дальнейшем эта связь уже ослабевает, самостоятельность промышленной буржуазии выступает все отчетливее, она начинает уже понемногу становиться на собственные ноги, отделяться от государства, но все же привычка, да и известная надобность в государственной защите еще ощущается. Поэтому, в этот второй период (1877—1890 гг.) экономическая политика и состоит в поощрении покровительствуемых предпринимателей с предоставлением им уже большей свободы действий.

Таким образом, в рассматриваемое время, особенно в его начальной стадии, цели новой буржуазии были направлены не столько на добывание полной свободы действий, сколько на создание условий, в которых можно было бы потом о добывании этой свободы говорить, а именно: на поиски у государства средств для своего укрепления. Отсюда — борьба с теми, кто почти монопольно пользовался государственными субсидиями, с теми буржуазно-клановыми группами, которые засели в правительстве, борьба с их привилегированным положением. На этой почве и был выкинут лозунг либерализма, выросло «движение за народные права», поскольку оно касалось промышленного крыла буржуазии.

Не нужно, однако, забывать о том, что в целом японский радикализм, особенно последующих годов, питался не одними этими корнями: его основой была борьба сельской буржуазии, — помещиков против попыток молодой промышленной буржуазии точнее, той ее части, которая пользовалась правительством для своего укрепления, против попыток этой буржуазии переложить издержки перехода на новые капиталистические рельсы на плечи этих помещиков. На этой почве развернулась, с одной стороны, серия аграрных мероприятий, с другой — оппозиционное движение сельской буржуазии. Если известное недовольство широких кругов промышленной буржуазии впоследствии оформилось в одну из политических партий — Кайсинто, то оппозиционное движение сельской буржуазии потом (1881 г.)

организовалось в форму партии, так и называемой либеральной (jīyūtō). Оно и составило центр «движения за народные права» в эти годы.

Отсюда ясно, что японский либерализм, при всем кажущемся совпадении лозунгов и форм, на самом деле представляет собою явление иного порядка, чем английский. И тем не менее в известной своей части лозунги английского либерализма могли служить целям выходящей к деятельности японской буржуазии и на этом этапе, поскольку они говорили о свободе действий не только для ограниченного круга лиц, но и для всех, поскольку они способствовали развязыванию инициативы. В связи же с тем, что с этим либерализмом для японцев того времени соединялось представление о передовой капиталистической технике и науке, о наилучшем государственном социальном строе, при котором «наибольшее число благ имеет наибольшее число людей», английский утилитаризм и стал на время евангелием молодой японской буржуазии.

Не следует упускать из виду и влияние Америки. Известно то сильнейшее впечатление, которое производил демократический строй тогдашней Америки на передовые буржуазные умы того времени и в Европе. Достаточно вспомнить хотя бы путешествие Токвиля и успех его книги «Демократия в Америке». Такое же глубокое впечатление производила Америка с ее бурно развивавшейся промышленностью и на побывавших в ней японцев. Об усиленном внимании в ней Фукудзава было уже сказано. И помимо Фукудзава много японцев уже успело побывать в этой стране. Влияние САСШ ощущалось также достаточно отчетливо. Поэтому, тот утилитаризм, который господствовал над умами японцев в первые десять-двадцать лет нового режима, слагался из английских и американских элементов. В частности, тот практицизм науки, к которому призывал Фукудзава, в своей доброй части питался американскими корнями. Поэтому и правильнее будет обозначать это время как эпоху англо-американского утилитаризма.

4

Наряду с Фукудзава Юкити другим выдающимся глашатаем новой идеологии был Накамура Кэю. При всей близости исторической роли и значения этих двух деятелей японского просветительного движения, между ними были и известные отличия. В то время как Фукудзава, по необходимости начав с конфуцианского просвещения, очень быстро отошел от него и с головой погрузился в новую европейскую науку, Накамура прошел курс китайского схоластического образования полностью и выступил на

арену деятельности именно как представитель конфуцианства. Таковым он, строго говоря, остался и до конца, и все, полученное им от Запада, не разрушило в нем эту конфуцианскую основу целиком.¹ Однако, в противоположность многим другим своим собратьям он сразу стал на позиции принятия и новой науки, не отверг западного просвещения, а наоборот постарался его усвоить сам и преподавать другим. При этом с Западом он познакомился не только по книгам, но и на месте: в 1866 г. он едет в Англию и проводит там около двух лет; возвращаясь уже после революции, он сразу же обнаруживает понимание новой эры. Занимая до этого официальный конфуцианский пост на службе прежнего феодального правительства, он теперь поворачивает на тот путь, на который стал и Фукудзава: организует в 1873 г. собственную школу — Дбнинся и привлекает массу учеников. В этой школе он и развивает огромную деятельность в духе общего просветительного движения этих лет. Полученная Накамура конфуцианская подготовка сказалась главным образом в том, на какие стороны западного просвещения он обратил особое внимание. Тогда как Фукудзава пропагандировал главным образом социальные и политические науки, а также физику и естествознание, Накамура делал ударение на этике, на религиозно-философских доктринах. В то время как первый лучшим орудием для переустройства общества считал положительную, практически-полезную науку, второй рассуждал иначе:

«Время, начиная с года Босин,² у нас зовут Обновлением. Что значит это Обновление? Говорят: это значит, что старое — правление Бакуфу удалено, введено новое — правление монарха. Но если так, то выходит, что говорят только об обновлении формы правления, а не об обновлении людей. Форма правления подобна сосуду, в который наливается вода. Люди подобны воде. Если влить ее в круглый сосуд, она станет круглой; если влить в квадратный, она станет квадратной. Сосуд может быть переменен, его форма изменена, существо воды от этого иным не станет. С года Босин сосуд, в который помещены люди, принял форму лучшую, сравнительно с прежней, но люди остались все теми же, прежними людьми. Рабы по природе. На верхах — высокомерны, в низах — лстивы. Невежественные, неграмотные, ограниченные, мелочные. Отворачивающиеся от труда, не терпящие затруднений. Довольствующиеся своим умом, действующие с малым разумением. Неспособные к стараниям и упорству. Непостоянные, легкомысленные, без

¹ Это обстоятельство характерно не для одного Накамура. Вообще роль конфуцианства в японской буржуазной культуре должна быть изучена особо при свете роли «феодалных остатков» вообще. Проблема эта — большой важности и огромного интереса.

² Год Еосин — 1868 г., т. е. 1-й год Мэйдзи.

господина в голове. Не стремящиеся к самостоятельности, любящие опираться на других. Со слабой способностью к наблюдению, к мысли. Не умеющие пользоваться деньгами. Нарушающие обязательства, не ценящие доверия. С неразвитым чувством дружеской привязанности, с трудом действующие совместно. Не стремящиеся к новому. Конечно, не мало людей, уже освободившихся от всех этих пороков, но большинство — таково. Если желать изменить природу людей, обратить их к добрым чувствам, к достойным поступкам, — менять одну только форму правления — значит не иметь никаких результатов. Только всего и будет, что круглый сосуд станет шестиугольным или восьмиугольным; природа же той воды, что внутри его, не изменится. Поэтому желательно не столько изменить форму правления, сколько природу людей, улучшить ее, удалить старое, каждый день вносить новое, в каждый новый день вносить новое. Но каковы же способы, которыми можно изменить природу людей? Их — два: наука и моральное учение. Они все равно, что два колеса у колесницы, два крыла у птицы. Взаимно помогая друг другу, они ведут жизнь человеческую к благу. Одни науки, хотя и проникают в сферы чудесного, все же в условиях одного материального развития, не могут, как это и случилось в Египте и в Греции, предотвратить порчу нравов; необходимо, чтобы процветало и моральное учение: именно оно действует там, куда влияние науки не проникает. Поэтому они и являются орудиями полного обновления человеческого духа».¹

Несомненно, таким своим этическим направлением Накамура обязан своей конфуцианской школе. Понятно, что и участие в просветительном движении он принял в этом же направлении. В то время как Фукудзава для своих популяризаторских работ брал сочинения по естественно-научным, экономическим, социальным и политическим вопросам, Накамура был занят философскими проблемами. Отсюда его интерес к Эмерсону, сочинения которого он переводит. Отсюда его внимание к социально-этическим сочинениям Милля, «Принципы свободы» которого также перекладываются им в 1877 г. на японский язык. Однако, больше всего он заимствует от Смайльса, из работ которого он переводит «Самопомощь» и «Характер». Перевод «Самопомощи» (Saikoku rishhi-hen), выпущенный в 1876 г., имеет успех, чуть ли не граничащий с успехом «Призыва к науке» Фукудзава.

Таким образом, если персонально Фукудзава и Накамура и были людьми различного склада и темперамента, если они работали в разных областях, объективно они делали с разных сторон одно и то же дело. Это обнаружи-

¹ См. Fujiwara. Meiji Kyōiku shisō shi, стр. 50—51.

вается при сопоставлении их основных принципов, игравших роль лозунгов всей их деятельности, формул всего их мировоззрения. У Фукудзава такой принцип выражался словами: «Независимость и самоуважение» (*Dokuritsujison*), у Накамура он звучал так «Самопомощь и самосовершенствование» (*jijo-jishu*). Первый взывал:

«Учащийся в наше время ни в коем случае не должен довольствоваться тем образованием, которое он получает в элементарной школе. Он должен простереть свои устремления дальше и проникнуть в самые основы науки. Он должен быть самостоятельным и независимым, не обращаться к другим людям. Если у него даже не оказалось бы единомышленников — друзей, он все равно должен один воспитать в себе силы для поддержки нашей Японии, и этим работать для своего поколения».¹

Второй повторял Смайльса:

«Существует поговорка: „Небо помогает тому, кто сам себе помогает“. Эта поговорка основана на точном опыте. В этой одной короткой фразе заключен опыт всех человеческих поколений, опыт их успехов и неудач. Помогать себе — это значит быть самому себе хозяином, стоять на собственных ногах, не обращаться к силам других людей. Дух самопомощи есть корень, из которого произрастают все человеческие знания и способности. Идя дальше, можно сказать: если людей, помогающих себе, много, то и страна их преисполнена энергии, и дух в ней крепок».

В этих двух формулировках совпадают почти все мысли. Во всяком случае совпадают основные: призыв к энергичной самостоятельной деятельности и связывание конечных целей этой деятельности с интересами общества и государства в целом. Правда в своей конкретной части, пути, указываемые обоими авторами, различны: для Фукудзава они заключались в усвоении практической науки — физики и естествознания, экономики и политики; для Накамура они сводились к воспитанию в себе здравого смысла и нравственных добродетелей. Но по существу это были лишь две стороны одного и того же дела: один из них способствовал борьбе своего класса за новый хозяйственный и политический порядок, призывая его к овладению оружием практического знания, другой содействовал этой же борьбе, насаждая соответствующие психологические и моральные предпосылки для такого вооружения. В этом — их индивидуальное различие при общей одинаковости их объективной роли.

¹ Ср. Takasu, *op. cit.*, стр. 4.

5

Фукудзава и Накамура были вождями движения за новое просвещение, но отнюдь не единственными его представителями. Движение это складывалось из работы, из деятельности, из совокупности усилий целой плеяды людей. Питомниками их в ближайшем смысле этого слова были те многочисленные школы, которые массами возникали в эти годы и наперебой стремились преподавать новую европейскую науку, в первую очередь — новые языки. Все сколько-нибудь выдающиеся деятели нового просвещения стремились основывать такие школы, справедливо усматривая в этом наилучшее средство для распространения нового просвещения, а вместе с этим и для усиления своего личного влияния. Примером таких школ могут служить упомянутые выше школы Фукудзава — Кэйо-гидзюку, и Накамура — Дзинся.

Что из себя представляли эти школы в то время, сказать трудно. Ни определенных уставов, ни программ у них не было. Их нельзя отнести определенно ни к одному из привычных нам теперь типов учебных заведений. С одной стороны, обучение в них сводилось к усвоению самых элементарных, с точки зрения европейской науки, вещей, с другой — в них же изучались первостепенной важности политические вопросы. Это был тот тип школ переходного времени, который нужен был для того, чтобы пропустить в возможно короткий срок наибольшее число людей, принадлежащих к классу, в данный момент вышедшему к широкой деятельности, для того, чтобы в кратчайший срок вооружить этих людей хоть и не систематическим, не академически полным, но для данного этапа абсолютно необходимым комплексом знаний и идей, комплексом, конкретное содержание которого определялось характером и целями классовой борьбы на данном этапе. В большинстве этих школ господствовала главная тенденция века — утилитаризм, вследствие чего базой преподавания был английский язык; однако, в некоторых культивировались те идеи, которые потом обнаружились очень ярко: идеи французского просветительства, отчего и господствующим языком был там французский. Такова например школа Тацуридо, или школа Риссися, кстати сказать, основанная знаменитым впоследствии лидером либерального движения Итагаки Тайскэ.

Вслед за этой общественной инициативой шла инициатива государства. Оно, конечно, старалось насаждать школы более академического типа, но и они превращались в рассадники нового просвещения. Действовали и иностранцы, главным образом миссионеры, воспользовавшиеся общим устремле-

нием к изучению Запада для того, чтобы развить в этих школах пропаганду христианства. Успех христианства в эти годы объясняется как тем, что японцы видели в этом учении идеологию усваиваемой ими новой европейской культуры, лишнее орудие для борьбы со схоластическим конфуцианством и буддизмом, так и тем, что принятие христианства открывало широкие возможности общения с европейцами, а следовательно и усвоения английского языка. Многие из этих новых христиан сами принимались за организацию школ, соединяя обучение христианским догматам с обучением английскому языку. Примером таких школ может служить знаменитый институт Дōсися в Киото, основанный в 1875 г. Ниидзима. Непосредственно из этих школ вышел целый ряд виднейших впоследствии деятелей буржуазной Японии. Через христианство же в той или иной мере прошли очень многие прославившиеся в дальнейшем писатели: Токутоми Рōка, Токутоми Сōхō, Симадзаки Тōсон, Баба Тацуро, Китамура Тōкоку, Утида Роан, Ямадзи Айдзан, Куникада Doppō и другие.¹

Эти, с каждым годом растущие в своем числе кадры новых людей, преисполненные всей энергией поднимающегося класса, скоро нашли удобные организационные формы для совместной работы. Простейшей из таких форм был кружок, более сложной — общество. Первый период истории новой капиталистической Японии ознаменован расцветом именно таких кружков и обществ. В виду же того, что главной задачей этих объединений было политическое самообразование, многие из них играли роль своеобразных клубов, где дебатировались наиболее острые политические вопросы текущего дня. Наиболее влиятельными из таких объединений, представляющих собою два различных — и притом наиболее характерных для той эпохи, — типа, были Мэйрокуся и Кёсон-дōсё.²

Мэйрокуся — буквально «Общество 6-го года Мэйдзи» — основано в 1873 г., т. е. в шестом году новой эры. Это было объединение всех наиболее ярких, наиболее авторитетных деятелей нового общества. Его вдохновителем был Мори Аринори (Юрэй), характернейший представитель нового поколения. Он также успел побывать в Англии еще до революции, пробыл там три года и в 1868 г. вернулся обратно, превратившись в ярого апологета западной культуры, человека, целиком пропитанного английскими понятиями того времени: идеями свободы и утилитарной философии вообще. По характеру и содержанию своих взглядов он стоял на крайнем фланге молодой буржуазии того времени, по своему же темпераменту принадлежал

¹ Ср. Takasu. Nihon gendai bungaku juni-kō (Showa, 8); главным образом лекции 2 и 3.

² О них между прочим ряд сведений в упомянутой выше книге Fujiwara (стр. 48—54).

к числу наиболее непримиримых борцов за новый режим. Это и привело его к печальному концу: его слишком радикальная деятельность на посту министра народного просвещения, который он занял впоследствии, вызвала острое недовольство консервативных кругов и закончилась покушением на его жизнь и его смертью. Мори таким образом примыкал к тому течению, идейным вдохновителем которого был Фукудзава. Фукудзава, также входивший в состав нового общества, сначала даже намечался как его естественный глава, и только в силу категорического его отказа, Мори пришлось стать во главе общества самому. Однако, фактически руководителями всего дела являлись они оба. Это и определило основное направление деятельности Мэйрокуся.

Помимо Мори и Фукудзава в число членов входил и Накамура, а за ним целая плеяда новых деятелей, уже обладавших крупными именами. Свою деятельность новое общество осуществляло главным образом через свой орган — журнал «Мэйроку-синси», начатый изданием в 1874 г. и закрывшийся в 1876 г. Это был наиболее авторитетный орган своего времени, пользовавшийся исключительной популярностью и влиянием. Основной задачей его была пропаганда западного просвещения, но при этом далекая от простого культурничества: это западное просвещение пропагандировалось постольку, поскольку оно соединялось с насущнейшими проблемами современности и способствовало их разрешению. Это явствует хотя бы из перечня тех вопросов, которые освещал этот журнал на своих страницах. Они касались в равной мере политики и морали, религии и просвещения, быта и языка — любой области, в которой требовалась борьба со старым и привитие нового. Так например, в журнале появились работы Мори, бьющие по самым крепко засевшим предрассудкам и обычаям: статья «Об уничтожении ношения мечей», направленная против дворянских предрассудков самураев; статья «О равноправии женщин и мужчин»; не менее боевая статья «О запрещении наложниц» и другие. Кстати сказать, в этом вопросе Мори был поддержан Фукудзава, который прямо заявлял: «Если в доме живут рядом жена и наложница, то этот дом — пусть это будет даже терем из нефрита или палаты из золота — ничем не отличается от скотского сарая». Внимание журнала было направлено и на экономические проблемы того времени: о них говорили статьи Накашима Ю «О развитии промышленности», Цуда Сэн «О сельском хозяйстве». Много уделялось места политическим вопросам; такова, например, статья Цуда Санэмити «О свободе печати», несколько более общий философский характер носила работа Мимасака Ринсё «О связи между климатом данной местности и человеческой свободой» Интересно отме-

тить, что в этом журнале был впервые в Японии поднят вопрос о латинизации письменности: революционный в первое время пыл молодой буржуазии не мог пройти мимо и иероглифики, с которой, с одной стороны, ассоциировалось все старое, подлежащее разрушению, просвещение, и которая, с другой стороны, стояла на пути демократизации культуры. Правда, этого пыла хватило не надолго, иероглифы остались, но все же статья Ниси Мэгуру «О латинском алфавите» (Roma-ji-ron) превратилась в отправной пункт последующего движения за латиницу, закончившегося выработкой известной транскрипционной системы «Ромадзи», существующей до сих пор. С нее же начались и другие попытки реформирования письменности; например, движение за переход на японскую слоговую азбуку (кана). Таким образом, общество за латинизацию японской письменности — Ромадзи-кай, основанное в 1885 г., а также общество по переходу на японскую слоговую азбуку — Кана-но-кай, основанное в 1884 г., имели своего предшественника в лице журнала «Мэйроку-синси».

Радикализм Мэйрокуся в этой области сказался еще резче в вопросе о языке, как таковом. Уже в журнале фигурировала статья Сакатани Мото «О необходимости международного языка». Сам же главный руководитель общества Мори занял совершенно крайнюю позицию: он предложил не более, не менее, как отбросить японский язык совершенно и перейти на английский. Разумеется, из этого ничего не вышло, но все эти разговоры превосходно характеризуют как самую группу Мэйрокуся, так и состояние умов передовой японской буржуазии этих лет.

Второе общество «Объединение совместного существования» (Кёсон-дōсю) возникло в следующем году после Мэйрокуся — в 1874 г. Во главе его официально стоял Оно Цукаса, однако, как и в «Мэйрокуся», руководство фактически находилось в руках двух лиц: Оно и Баба Тацуо. Оба они были в одинаковой мере представителями нового поколения. Так же, как и основная группа Мэйрокуся, они принадлежали к поклонникам всего английского, особенно английского политического строя: английский конституционный режим представлялся им высшим достижением государственности. Вокруг них группировалась преимущественно молодежь, так что, если это объединение уступало Мэйрокуся в смысле имен, то зато оно шло в известном смысле даже впереди того по своему передовому характеру. Цели общества, а также основная форма деятельности, явствуют из двух первых параграфов его устава:

§ 1. Задача настоящего объединения — содействовать изучению путей совместного существования людей.

§ 2. Для обсуждения и осуществления этой задачи настоящее объединение разделяет все вопросы на отделы: право, воспитание, хозяйство, гигиена и т. д., устраивает собрания, а также организует библиотеку.

Под несколько туманным выражением «изучение путей совместного существования людей» фактически подразумевалось изучение все того же Запада, мировой обстановки, в условиях которой приходилось новой Японии жить и развиваться, завоевывать себе место под солнцем. В качестве же основной формы своей работы объединение избрало собрания, на которых происходили дискуссии по всевозможным вопросам. Эти собрания устраивались два раза в месяц, причем каждому члену полагалось выступать со своими докладами и участвовать в прениях. Фактически наиболее частыми ораторами были Оно и Баба; вслед за ними шли Эги, Тояма, Яно. Эти пятеро составляли основное ядро всей группы. Кроме устройства этих собраний общество издавало и свой журнал «Кёсон-дзасси».

Влияние этого объединения было значительно меньше, чем Мэйрокуся. Однако, воодушевление, пронизывавшее все выступления Кёсон-дōсё привлекало к нему целые группы молодежи, так что, в конце концов, по количеству группировавшихся вокруг него лиц оно стало даже превосходить своего более влиятельного собрата. В то же самое время оба общества, делая одно дело, взаимно дополняли друг друга: Мэйрокуся действовало преимущественно печатным словом, своим журналом; Кёсон-дōсё — устным словом, своими собраниями. С этой точки зрения каждое из них оказалось зачинателем тех форм общественной работы, которые потом так расцвели: от Мэйрокуся пошли клубы, от Кёсон-дōсё — публичные лекции.

Примеры этих двух объединений свидетельствуют о том, что молодая японская буржуазия начала уяснять себе ту роль, которую может играть в политической и культурной жизни страны периодическая пресса. В связи с этим и находится начало бурного развития в Японии этой прессы, явившейся одним из мощных орудий просветительного движения. Учитывать эту роль прессы в деле создания идеологии новой Японии, а в дальнейшем — в деле создания новой японской литературы — совершенно необходимо. Как школы, руководимые новыми людьми, как кружки и общества, объединявшие этих людей, как научно-популярная и политически пропагандистская литература, создаваемая ими, как журналы, выпускаемые ими, так и периодическая пресса в целом — все это было лишь отдельными рычагами в просветительной работе, теми каналами, через которые новая капиталистическая культура просачивалась в толщу населения.

Из журналов, кроме вышеупомянутых, в эти годы необходимо отметить еще «Минкан-дзасси», одно время издававшийся Фукудзава совместно с его учениками — людьми, вышедшими из его школы Кэйо-гидзюку. Основными вопросами, занимавшими журнал, были вопросы политические, экономические и педагогические, то есть из областей, наиболее актуальных для того времени. По своей популярности среди новой молодежи этот журнал шел непосредственно вслед за «Мэйроку-синси».

Вслед за «Минкан-дзасси» появился «Хёрон-симбун», журнал, издаваемый группой Тосися — объединением наиболее крайне настроенных представителей тогдашней молодежи. Основная цель его высказывается прямо: это — орган, ставящий перед собой не вопросы просветительства, но чистой политики, конкретно — борьбу за народные права. В связи с такой установкой журнал занимался не только разъяснением и пропагандой идей народопрравства, но и призывал к прямым действиям. Такие устремления членов этой группы привели их в последующее время к участию в антиправительственном движении, совместно с реакционными феодальными силами (Сацумское восстание).

Наряду с журналами растет и развивается газетная пресса. После нескольких лет первых попыток, начиная с 1873 г., идет неуклонное ее развитие. Помимо общих причин — развития нового общественного порядка, — сильным толчком, способствовавшим оживлению газетного дела, послужил известный политический конфликт, разыгравшийся в 1873—1874 гг. в правящих кругах вокруг корейского вопроса, конфликт, разделивший руководящие круги в правительстве на два лагеря — сторонников активной внешней политики и защитников политики всемерного внутреннего укрепления, и резко столкнувший их. В этот конфликт были вовлечены и широкие круги нового общества, особенно те, что уже участвовали в политической борьбе последних лет феодализма и событиях переворота. В связи с этим дискуссия по корейскому вопросу прокатилась по всей стране и всколыхнула очень широкие круги. С другой стороны, к этому же времени относится и первое открытое выступление ряда новых деятелей в пользу дальнейшего развития нового режима — перехода к парламентарному строю: в 1874 г. появился известный меморандум о введении представительного строя, составленный учившимися в Англии и яркими англофилами в политических воззрениях Фурусавы и Комуры, и подписанный крупнейшими именами: Игатаки, Гото, Это, Соэдзима. Характерно, что большинство этих лиц принадлежало к числу сторонников активной внешней политики, и неудача, понесенная ими в этом вопросе, способствовала усилению их оппозицион-

ных настроений. Так, соединились в одном клубке и самые реакционные устремления, попытавшиеся потом выступить против нового режима с оружием в руках, и самые радикальные.

Так или иначе общая сумма вопросов, поднятых дискуссией о внешней политике, а также вызванных ею, сыграла огромную роль в деле развития политической литературы. Прежде всего она вызвала поток памфлетов, чрезвычайно резких по тону и радикальных по содержанию. Наряду с этим чрезвычайно оживилась и периодическая пресса. Она увеличилась и в своем числе, укрепилась и в своем значении. На умеренных позициях, на точке зрения постепенности развития, стояла газета, связанная с кланом Тёсю — «Токио-нити-нити», основанная в 1872 г. деятелями существовавшей одно время до этого газеты «Коко-симбун», и управляемая известным Фукути Гэнитиро (Ōти). На радикальных позициях стояла газета «Юбин-хōти» (основана в 1872 г.), находившаяся в руках учеников Фукудзава, газеты «Тёя-симбун» (основана в 1874 г.), Токио — «Акэбоно-симбун» (основана в 1875 г.). Они приняли горячее участие в политической борьбе, что определило и их облик: на первом месте стояла не информация о новостях, а политические статьи. Авторами последних были «Ёгакуся» — «европейские ученые», т. е. люди уже в той или иной мере усвоившие понятия и взгляды европейской буржуазии, знающие Запад, иначе говоря все те же деятели японского просветительного движения. Для них газеты были одной из арен деятельности, отчего печать эпохи лежит и на прессе. При этом эти газеты были наиболее боевыми, наиболее политически заостренными орудиями в руках таких людей. Это и вызвало то, что репрессии правительства прежде всего обрушились на них: в 1875 г. выходит газетный устав, юридически закрепивший за правительством ряд способов всяческого ущемления прессы (штрафы и аресты за критику правительства) и повлекший за собой закрытие ряда журналов и газет, аресты виднейших журналистов и т. д. Это однако не остановило развития газетного дела, а наоборот — стимулировало его, усилив при этом оппозиционность. Издательства вступили на обычный путь: возобновление дела под другим названием. Так, особо рьяно нападавший на правительство журнал «Хёрон-симбун», закрытый правительством, продолжал выходить сначала под названием «Тёгай-хёрон», потом — «Буммэй-синси».

Из этого одного можно усмотреть, что обстановка, в которой развивалось просветительное движение, была достаточно сложной. В силу того,

что это просветительное движение было никак не отделимо от политического, в силу того, что его деятели были в то же время политиками, с головой ушедшие в практическую борьбу, и все движение проходило те же этапы, что и политическая борьба. К концу первого десятилетия нового режима обстановка оказалась настолько насыщенной противоречиями, что привела к ряду острых столкновений, а затем в 1877 г. и к вооруженной борьбе. К этому времени определились три основных лагеря: правительственный, руководимый Окубо, и два ему оппозиционных: радикальный, во главе которого стояли деятели движения за народные права, и реакционный — из части прежних феодалов, главным образом из не сумевших перевооружиться и перейти на новые рельсы самураев. Этот реакционный лагерь сначала проявлял себя отдельными вспышками (восстание Хаги-но-ран, выступление Симпурэн), пока наконец не сосредоточил все силы в Сацума, найдя общепризнанного вождя в лице Сайго Такамоори.

Сацумское восстание в 1877 г., потрясшее всю страну, имело огромное значение для всего хода дальнейшего развития Японии. Строго говоря, разгром Сацумского лагеря и явился окончательной победой нового режима. Это была последняя схватка растущего капитализма с реакционными феодальными силами, схватка окончательно расчистившая для него пути развития, с одной стороны, и решившая судьбу феодализма, сочетав его уцелевшие элементы с капитализмом, с другой. В связи с этим и для новой культуры открылся широкий простор. Радикализм молодой буржуазии после Сацумского восстания проходит уже под несколько иными лозунгами. На первых порах ее знаменем было преимущественно просветительство, ставящее своей задачей перенесение в Японию европейских положительных знаний, науки вообще, пропаганду новых экономических форм и политического режима. Поскольку классовые цели этой буржуазии направлялись тогда главным образом на укрепление достигнутых позиций, постольку знамена просветительства были на первых порах в общем достаточны для нее. И только постепенно, с укреплением экономических позиций новой буржуазии, эти знамена оказались уже не вполне покрывающими новые цели: они были теперь передвинуты дальше; так называемое «движение за народные права», в зародышевой форме существовавшее уже в самые первые годы нового режима и зародившееся в среде того же просветительства, постепенно крепло и развивалось. Сацумская война, уничтожившая для правительства противников справа — лагерь феодальной реакции, в то же время не только не уничтожила, но еще более взбудоражила противников слева — лагерь радикальной буржуазии. Он

слагался, как сказано было выше, частично из перестраивающихся на капиталистический лад помещиков, борющихся против стремления зацепившихся за правительство и покровительствуемых им новых промышленников развернуть свою деятельность за счет средств, извлекаемых из сельского хозяйства; он слагался также из той части промышленной буржуазии, которая, не занимая такого привилегированного положения как первая, стремилась к обстановке, могущей помочь и ей развернуть свою предпринимательскую деятельность в широком масштабе; он слагался, наконец, и из тех бывших самураев, которые после переворота стали ориентироваться главным образом на правительственную службу, на обслуживание всего государственного аппарата; недовольство среди них питалось, с одной стороны, отсутствием простора и размаха для этой деятельности, так как государственный режим ставил их в определенные рамки, с другой — и самый доступ к такой деятельности был достаточно ограничен; среди этих недовольных необходимо отметить еще одну особую группу: самураев бывших кланов Тоса и Хидзэн, проделавших вместе с кланами Тёсю и Сацума всю революцию, теперь же — особенно после Сацумского восстания — оттесненных этими последними кланами — особенно Тёсю, занявшим преобладающие позиции в правительстве.

Эта разнородная масса с самыми разными стремлениями и целями объединялась, однако, в одном: в оппозиционности к правительству. Разнородность ее обуславливала различные формы ее выступлений, различие характера и интенсивности ее борьбы; она же приводила и к взаимным столкновениям внутри всего лагеря. Общая же оппозиционность приводила к сотрудничеству, к взаимным компромиссам. Второе десятилетие нового режима (конец 70-х годов и все 80-е годы) поэтому и явилось временем сильнейшего развития японского либерализма. Первое внешнее его проявление — петиция о введении представительного строя 1879 г. означала, что процесс консолидации сил оппозиционной буржуазии шел уже полным ходом и что она стала находить организационные формы для своих выступлений. С этой точки зрения характерна не столь сама петиция, сколько та обстановка, в которой она появилась: ей предшествовала полоса сильнейшего развития политических кружков (в Кёти, Кумамото, Идзумо, Нагоя, Мацумяма и других местах), крупнейшим моментом которой было образование в 1879 г. Союза борьбы за установление срока созыва парламента (Kokkai kisei dōmeikai), от лица которого эта петиция и была подана. Как известно, формально эта попытка ни к чему не привела: петиция даже не была принята. Но именно эта неудача, в соединении с агитацией делегатов,

отвозивших петицию, еще более разогрела оппозиционное настроение этого лагеря буржуазии. Его самоорганизация принимает все более и более отчетливую форму, пока, наконец, не выливается в обычную для капиталистического строя форму — в форму политических партий: в 1880 г. образуется первая такая партия Дзиёто (Партия свободы), во главе которой становится Итагаки Тайскэ — человек, создавший себе крупнейшее имя своим участием в политическом движении радикальной буржуазии до этого; в 1882 г. появляется партия Кайсинто (Партия реформ), с вышедшим из состава правительства Окума Сигэнобу во главе. Появление этих двух партий обуславливается обрисованной выше неоднородностью оппозиционного лагеря: в Дзиёто преобладали слои новой буржуазии, связанные с сельским хозяйством — помещики, водочники, в Кайсинто — торгово-промышленная буржуазия, главным образом те ее широкие круги, которые выходили теперь на арену широкой деятельности и наталкивались на закрепившиеся в правительстве и с его помощью усилившиеся группы промышленников. С другой стороны, в ту и другую партию входили и элементы мелкой буржуазии — бывшие самураи: в Дзиёто — не успевшие еще приспособиться к капиталистическому режиму или же жаждавшие доступа к политической деятельности; в Кайсинто — члены вытесняемых кланов, особенно те, которые вынуждены были уйти из правительства в связи с борьбой, происходившей в 1881 г. Отсюда связи каждой из этих партий с двумя оттесненными кланами: Дзиёто — с Тоса, Кайсинто — с Хидзэн. Так, даже в первый момент политической борьбы японской буржуазии в одно целое соединились самые разнородные и, казалось, самые противоречивые элементы. Поэтому, уже в эту эпоху собственная физиономия каждой из этих партий была далеко не отчетлива.

В том же 1882 г. была сделана попытка образования и третьей партии — Тэйсэйто (Партии монархического правления), организации чисто бюрократической, долженствующей противостоять первым двум. Во главе ее было поставлено также крупное имя — один из деятелей просветительного движения, редактор Нити-нити — Фукути Гэнитирё. Однако, отсутствие подлинно острых классовых противоречий между правительственным и радикальным лагерем, особенно с партией Кайсинто, конечное единство их буржуазно-капиталистических целей, с одной стороны, сделали эту оппозиционность условной и легко ликвидируемой известными уступками, к тому же predetermined общим ходом капиталистического развития Японии; с другой — они делали условным и сопротивление правительства, что сказало, кстати сказать, и в быстром обнаружении неужности специальной

правительственной партии — Тэйсэйтō, быстро распавшейся. Борьба внутри буржуазии развивалась отнюдь не по линии столкновения правительства и радикальной буржуазии, а по линии пока еще не вполне урегулированных интересов аграриев и промышленников, во-первых, и по линии столкновения отдельных групп внутри промышленной буржуазии, во-вторых. Разумеется, что ни по своему характеру, ни по интенсивности, столкновения внутри лагеря промышленной буржуазии никак не могли идти в сравнение с борьбой аграрной и промышленной буржуазии. Поэтому, максимум буржуазной оппозиционности представляла собою тогда партия Дзйōтō, Кайсинтō же с самого начала заняла позицию не только умеренную, но временами и прямо охранительную.

Как известно, это либеральное движение прошло два этапа: первый (1879—1882 гг.), ознаменовавшийся образованием Дзйōтō и Кайсинтō, закончился двояким результатом: прокламированием введения представительного строя (манифест 1881 г.), что означало известную уступку требованиям оппозиции, и одновременно с этим опубликованием закона о печати и публичных собраниях 1882 г., дающим новое оружие в руки правительства для расправы с наиболее «горячими головами» из оппозиции; второй этап (1882—1889), ознаменовавшийся усиленной деятельностью Дзйōтō, выставившей лозунги борьбы за отмену неравноправных договоров, снижения налогов на землю, свободы слова и собраний, закончился также двояким результатом: с одной стороны, уступкой — введением конституции в 1889 г. с другой — изданием закона об «Охране общественного спокойствия» в 1887 г. Как сама половинчатость японской конституции, лишенной всякого оттенка даже буржуазной демократии, так и содержание этого закона, давшего в руки власти ряд полномочий в подавлении всякого мало-мальски действительно радикального движения, достаточно говорят о характере этого компромисса.

Так или иначе — по крайней мере внешне — это либеральное движение протекло под чрезвычайно радикальными лозунгами. При этом, в соответствии с новым этапом развития буржуазии, эти лозунги оформлялись уже не с помощью идеологического аппарата английского Фритредерства, но при содействии гораздо более революционно звучащих идей, идей французского просветительства предреволюционной эпохи. Таким образом, англо-американский утилитаризм, это одеяние японского радикализма в первую эпоху его развития, сменился французским просветительством. Вместо Бентама и Д. С. Милля духовными вождями этого второго — либерального этапа в развитии японской буржуазии стали Руссо и Монтескье.

Идеи «естественных прав» человека были известны японцам уже давно. В сущности говоря, во всех рассуждениях о свободе и равноправии, которые постоянно фигурировали до этого, звучали мысли не только Милля (О принципах свободы) или Спенсера (О социальном равенстве), но и мелко-буржуазные по существу отголоски идей французских просветителей. Следы их заметны даже у Фукудзава, не взирая на его основную ориентацию на Бентама и Милля: приведенная выше его тирада о всеобщем равенстве целиком отдаст духом «естественных прав». В 1875 г. появляется перевод «Духа законов» Монтескье («Bampōseiri»), в 1877 г. — в самый год Сацумского восстания — первый, еще неполный перевод (Хаттори Току) «Общественного договора» («Minyaku-gon»). Таким образом почва для руссоизма была в известной мере подготовлена, а изменившаяся общая подготовка, стимулировавшая и обострявшая борьбу за народные права, обуславливала его расцвет. Главными деятелями на этом пути, глашатаями «естественных прав» на японской почве были Накаэ Тёмин и Баба Тапуо.

Накаэ Тёмин был человеком в такой же мере нового типа, как и деятели просветительного движения. Самурай клана Тоса в прошлом, еще в годы феодализма ушел из клана в Нагасаки, где стал изучать французский язык. С помощью известного Готō Сёдзиро он едет через два года в Эдо и здесь поступает в одну из частных школ, где продолжает работать над французским языком и изучением французских авторов. В 1871 г., т. е. в год ликвидации кланов, он едет (вместе с посольством Ивакура) в Европу и живет три года во Франции. По возвращении сначала поступает на правительственную службу, делается даже директором Института иностранных языков, но скоро порывает с казенной службой и основывает свою собственную школу, в которой и преподает «французскую науку», всячески пропагандируя идеи свободы и равенства во французской их интерпретации. Короче говоря, он проделывает путь, характерный для большинства деятелей новой культуры.

Тёмин работал широко и многосторонне. Основной труд его — полный перевод «Общественного договора» Руссо («Minyaku-yakukaï»), выполненный в 1882 г., в самый разгар либерального движения. Этим однако он не ограничивался: идеи Руссо он обставляет обстоятельным комментарием. Это он делает в виде специального исторического исследования, посвященного падению старого порядка во Франции, — «Два века перед французской революцией» («Furansu kakumei-zen ni seiki koto»), подводящего так сказать историческую базу под идеи Руссо, а также в виде «Основы естествен-

ных наук» («Rigaku-kogen») и «Краткой истории европейского естествознания» («Taisei rigaku shoshi»), пропагандировавших материалистически ориентированные естественные науки Запада, иначе говоря, излагающих научно-философские основы французской идеологии того времени. Впоследствии он главное внимание свое перенес именно на эту область, и в конце концов сделался ярким пропагандистом позитивной философии в духе Кюнта. Изложение доктрин этой философии, сделанное им в 1900 г. (в работе под названием «Полтора года»), имело тогда огромный успех. Конечно, это относится к значительно более позднему периоду, но в известной мере характеризует его идейные устремления и вкусы и в разбираемое нами время.

Накаэ Тёмин высказывает свои идеи с таким же темпераментом, как другие деятели просветительного движения. Так например, в работе «Беседы о законах правления» («Seiri sōdan»), изданной в 1881 г., он выражается так:

«Права народа это есть высший Закон; свобода и равенство есть верховная Справедливость. Всякий, противящийся этому Закону и Справедливости, неизбежно несет кару. Пусть будут сотни монархий, все равно они не смогут уничтожить эти Закон и Справедливость. Как бы ни был монарх велик, все равно он должен чтить эти Закон и Справедливость, и в этом он сможет обрести защиту своего величия. Закон этот существует даже в Китае: Мэн-цзы и Лю Дзун-Юань уже давно усмотрели его. Он отнюдь не является достоянием одного Запада».

Идеи «естественных прав» при всей своей популярности в кругах японской буржуазии, преисполненных, мелкобуржуазного радикализма, вызвали в других кругах, более консервативных, резкие возражения. Эти возражения исходили, главным образом, из кругов, связанных с правительством, стремившихся противопоставить «деструктивным», по их мнению, идеям радикалов «конструктивные» идеи умеренно мыслящих. Представителем и вождем этих кругов был Катō Хираюки.

Катō сначала был также увлечен общим течением и настроен весьма радикально. На первых порах, в своей работе, изданной в 1874 г. — «Новое учение о государственном строе» (Kokutai shinron) он, подобно всем в это время, говорит о свободе, подходит близко к идеям «естественных прав». Впоследствии, ступив на путь государственной службы, сделавшись профессором, а затем и ректором Императорского университета в Токио, он меняет курс. Оформлению его взглядов на этом этапе сначала содействовали Бокль и особенно Дарвин; затем шли немецкие государственноведы Штейн, Бидерман,

социолог Гумплович. Основной его идеей был своеобразный этатизм, занимавшийся им главным образом от немцев. Насколько эти идеи вообще соответствовали его образу мыслей, можно усмотреть уже из того, что он их высказывал еще тогда, когда принадлежал к радикалам. Так, в своей книге 1872 г. «Общее учение о государственном праве» («Kokken hanron»), он говорит:

«Государство есть как бы большой человек, и как таковой, должен быть независимым. Должно обладать всей полнотой мощи. Должно занимать наивысшее положение. И должно быть единственным. Должно обязательно иметь в своих руках суверенитет. Поэтому государство — суверенно. Право суверенитета не есть нечто, появившееся до образования государства. Оно не существует и вне государства. Не находится и над государством. Сила государства, его величие и заключены в этой суверенности. Поэтому, право суверенитета и есть право государства в целом».

Течение, представляемое Катō, было одним из вариантов того движения, которое разворачивалось в некоторых кругах японского общества с самого начала переворота. Не надо забывать, что в идеологической подготовке революции сыграла огромную роль «национальная наука» — совокупность исторических, филологических и теологических исследований, вызвавших к жизни философско-историческую концепцию монархизма — «Соннброн», доказывающую исторически и теоретически незаконность власти сёгуна и необходимость передачи верховных прав императору. Самый переворот Мэйдзи также проходил под двойным лозунгом: «Да здравствует император» и «Долой иностранцев». Если для всего анти-феодалного движения в целом эти лозунги и были лишь орудием для ниспровержения феодализма, и были тотчас же отброшены, как только этот феодализм был свергнут, то для известных кругов японского общества, принимавших участие в перевороте, они — особенно первые — звучали как настоящие. Эти круги вошли частично в новое правительство; с другой стороны, и другие его представители, легко расставшись с лозунгом «Долой иностранцев», продолжали держаться за знамя монархизма, особенно видя перед собою внушающее им опасение бурное развитие европейского просвещения, говорившее о свободе и равенстве. В этих монархических идеях они видели известное контр-орудие против опасного либерализма. Отсюда попытки мобилизовать и старый синтоизм и старую «национальную науку». Так например, в первом же году нового режима, 1868 г., от имени императора было торжественно прокламировано восходящее еще к эпохе древнего абсолютизма положение: «Единство культа и правления»; в 1870 г. издан

манифест о почитании синтоистских божеств, об учении Синтō вообще, основано учреждение для разработки и пропаганды этих идей, словом, призван к жизни аппарат идеологического воздействия, пытающийся использовать традиционные верования и воззрения, глубоко вкоренившиеся в толщу населения. В 1872 г. было обнародовано так называемое «учение о трех положениях», призывавшее к почитанию родных богов и любви к родине, к соблюдению «Небесного Закона и Человеческого Пути», к преклонению перед императором и повиновению распоряжениям правительства. Рядом с этими попытками призвать к охранительным задачам подновленный синтоизм идут нападки на буддизм, развивающиеся в целое анти-буддийское движение, с другого конца подогреваемое христианской пропагандой. Издаются и сочинения, развивающие эти национальные идеи, как например: «Единственность монархического пути» («Kōdō-yuitsu-ron») Фудзивара Сюкуин, «Основы учения Великой Японии» («Dai-Nihon kokkyō-no-yōshi») Танака Тихō и ряд других. Иначе говоря, закладываются основы будущего национального движения, сильнейшее развитие которого намечается в середине 80-х годов и которое предваряет собою японо-китайскую войну. Конечно, ни по своей силе, ни по своему влиянию это движение никак не могло сравниться ни с просветительством — в первое десятилетие нового режима, ни с либерализмом — во второе. Как то, так и другое толкали Японию по тому пути, который был необходим для насаждения и укрепления в ней капиталистических начал. Национальное движение занимает в эти годы второстепенное место; но тем не менее первые ростки его появились тут же, не могли не появиться в условиях сильнейшей борьбы тех лет, и учитывать его необходимо.

Катō Хираюки является в известной степени представителем этого охранительного течения. В известной степени потому, что в противоположность попыткам противопоставить «разрушительным» тенденциям сторонников европейского просвещения явно реакционные, старозаветные идеи синтоизма, он старался действовать орудием, созвучным новой эпохе, орудием европейского же просвещения. Иначе говоря, если он и был представителем охранительных тенденций, то в их модернизированном виде. Характерно и то, что он не избежал общей участи и в начале своей деятельности в книге «Новое учение о государственном строе» отдал дань основным идеям века — учению о свободе и человеческих правах. Поэтому и в своей последующей полемике против «естественных прав» он исходил не из положений старой национальной науки, а из европейских учений. Его главное сочинение в этом направлении носящее название «Новое учение о правах

человека» («Jinken shingon») ясно обнаруживает, что автор в своей критике теории «естественных прав» исходит из позиции эволюционизма. Права человека, по его утверждению, отнюдь не являются прирожденными, данными *a priori*, они появились потом — в процессе развития человеческого общества. Сочинение это состоит из трех частей, носящих название, ясно выдающее точки зрения автора: глава 1 — «О том, что учение об «естественных правах» основано на заблуждении», глава 2 — «О зарождении прав и их развитии», глава 3 — «О том, на что следует обращать внимание в заботе о развитии человеческих прав». Некоторое представление о характере его рассуждений может дать следующий отрывок:

«Необходимо признать, что наши права рождаются в тот момент, когда образуется государство, рождаются под эгидой сильнейшего, т. е. правителя, обладающего неограниченной верховной властью. Пока нет такого сильнейшего, обладающего неограниченной верховной властью, нет и государства; наши же права самостоятельно, отдельно от государства появиться не могут. Поэтому как государство, так и наши права устанавливаются неограниченным правителем в тот момент, когда это неизбежно, для того, чтобы достичь безопасности как всех вместе, так и каждого в отдельности».

Катō продолжал свою полемику и в дальнейшем, выпустив в 1893—1896 гг. ряд работ по этому вопросу.

Выступления Катō и его сторонников вызвали горячие споры вокруг вопроса об «естественных правах». Японский руссоизм не остался в долгу и постарался дать Катō надлежащий ответ. Это было сделано рядом авторов: Яно Фумио (Рюкэй), Тояма Масакадзу и прежде всего крупнейшим глашатаем «естественных прав» в Японии — Баба Тацуо.

Баба Тацуо вышел из недр одного из самых передовых объединений того времени — из упомянутого выше Кёсон-дōсю. Он вынес оттуда присущий всей группе радикализм, который полностью отразился в его работе, изданной в 1883 г. под названием «Об естественных правах человека» («Tempu jinken-gon»). Работа эта — отчасти теоретическая, поскольку он излагает это учение, отчасти полемическая, поскольку в ней он сражается с критикой Като.

Основная мысль Баба: права человека есть его прирожденное достоинство, они коренятся в самой природе, каждый должен всемерно их выявлять. Он задается вопросом: «кто попирает эти права силою?» — и берет два исторических примера: Веспасиан в древнем Риме, Людовик XVI в новое время. «Кто с ними (правами) боролся идейно?» — Маккиавелли, Гоббс, Бентам.

Но, по мнению автора, это ни к чему не привело: усилия этих людей либо закончились неудачей, либо обнаружили их идейные заблуждения. Теперь, говорит он, против этих прав выступает Като, и он тоже заблуждается. И в дальнейшем пытается опровергнуть возражения Катō, делаемые последним, как было сказано, с точки зрения эволюционной теории. Свои рассуждения он ведет по следующим тезисам:

1) Люди, как и все прочие вещи вселенной, порождаются силами вечной природы. 2) Люди, как и все животные и растения, представляют собою явления, порождаемые способностью к метаморфозам, присущей природе. 3) Поскольку в результате таких метаморфоз появился человек, постольку его стремление к достижению своих целей ничем не отличается от такого же у животных и растений. 4) В таком законе достижения целей одинаковы все люди, к каким бы странам они ни принадлежали. 5) Для достижения целей всегда выбирается пункт, на котором меньше всего препятствий.

Вот образчик его рассуждений:

«Предположим, что в мире появляется человек. Этот человек обязательно стремится к тому, чтобы поддержать свое существование. Поскольку же он хочет поддержать свое существование, постольку он стремится к счастью. Если же он стремится к счастью, то должен прибегать в своем стремлении к счастью к тем путям, где меньше всего препятствий. Совершенно также люди, организующие государство и общество. Без всякого сомнения они стремятся к тому, чтобы поддержать существование этого общества, организованного ими. Если же они хотят поддержать существование этого общества, они обязательно должны стремиться к его счастью. А если они стремятся к его счастью, они должны выбирать те пути, на которых для существования этого общества находится меньше всего препятствий. А где же этот путь, на котором меньше всего препятствий? Этот путь — свобода и равенство людей. Если у людей нет этой свободы и равенства, на пути существования человеческого общества и достижения им счастья постепенно появляется множество препятствий».

В конце автор дает резюме своих основных положений. Одно из них (8) категорически утверждает: «Естественные права человека порождены самой вечной природой вместе со всеми предметами вселенной». Другое (10) гласит: «Вторая глава „Нового учения“ (имеется в виду вышеуказанное сочинение Катō) говорит о том, что права человека развились в борьбе за существование; в третьей же главе автор хочет подавить эти права. Таким образом одно противоречит другому».

Таким образом, в Японии в течение первых двух десятилетий нового режима, эпохи оформления и первого этапа укрепления нового класса, идейное развитие этого класса шло под тройким западным влиянием. Сильнее всего, а в первое десятилетие почти всепоглощающе, сказывалось влияние Англии — в образе английской утилитарной философии, подкрепленной американским практицизмом. На втором месте, а во второе десятилетие почти наравне с первым, стояло влияние французской просветительной философии предреволюционной эпохи. На третьем месте стояло влияние Германии, главным образом влияние германских государственных учений. В известных кругах делалась попытка создания и национальной идеологии на базе Синтō, но сама по себе эта попытка в те годы особой роли сыграть не могла, и оставалась пока в тени, готовясь развернуться в середине 80-х годов. Каждое из этих влияний было сопряжено с тем или иным общественным движением, способствуя его оформлению, создавая его лозунги. Англо-американский утилитаризм был в первую очередь знаменем просветительного движения, французское просветительство стало доктриной японского либерализма, немецкий же этатизм служил целям охранительного движения, что так характерно для поздно развивающейся буржуазии. Все же эти движения, в свою очередь, были либо выявлением отдельных стадий борьбы новой буржуазии в целом, либо отражением внутренних столкновений в ее среде. Так, просветительство служило целям первоначального вооружения буржуазии и являлось орудием в ее первоначальной борьбе за укрепление своих позиций; под лозунгами просветительства шло главным образом становление нового промышленного отряда буржуазии. Либерализм был вывеской скорее мелкобуржуазных кругов, преимущественно оппозиционно настроенной аграрной части новой буржуазии, стремившейся обеспечить себе возможности обогащения, обречь свои позиции от попользования промышленников, переложить издержки капиталистического становления на плечи сельского хозяйства. Национализм старались насадить правительственные круги, многочисленная бюрократия и примыкающая к ним прежняя феодальная аристократия, а также известная часть промышленной буржуазии, обогащающаяся с помощью правительства. Однако, эта расстановка сил в буржуазном лагере сильнейшим образом спутывалась и усложнялась как наличием в каждой группировке старых феодальных связей, так и взаимным переплетением этих группировок друг с другом. Кроме того, нельзя говорить и о строгой последовательности

в этапах общественного развития Японии. То же просветительное движение в своей большей части на первых порах сливалось с либеральным, поскольку и то, и другое имело в виду борьбу за народные права. В общее русло просветительства вливалась даже наиболее характерная часть националистического движения, пример — деятельность Катō. С этой точки зрения правильное будет сказать, что в первоначальном этапе общественного развития Японии под общим названием просветительства фигурировали все эти три главных идеологических течения; поскольку в эти годы главной задачей буржуазии была консолидация сил для окончательного преодоления феодальных элементов, постольку и умственное движение ее было более или менее единым. И только потом, когда, с одной стороны, на очереди стали другие общие цели, а с другой стороны, явственно обнаружились внутренние противоречия в самом буржуазном лагере, все движение в целом приняло несколько иные формы и в то же время распалось на ряд течений. Эти течения оказались соединены и с политическими группировками буржуазии. Либерализм — главная струя 80-х годов был связан с партией Дзидзюто, просветительство — с партией Кайсинто. Национализм, только понемногу укреплявший свои позиции, тогда был связан главным образом с некоторой частью правительственных кругов.

Кроме того, необходимо отметить и еще одно обстоятельство. Развитие японского капитализма, становление и укрепление буржуазии, классовая борьба в эти годы — в своем идеологическом облике — проходили под знаком сильнейшего влияния Запада, социально-политических доктрин, развивавшихся в Англии и Франции. Социально-политическая философия Запада играла огромную роль в оформлении идеологии буржуазного движения, содействуя выработке и определению лозунгов классовой борьбы. Однако, было бы неправильным искать в японском утилитаризме соответствующий вариант английского, или в японском руссоизме — какую-то часть в развитии идей Руссо вообще. Выше, на примере либерализма, уже было показано, что классовые движения в Японии принимали внешним образом черты, сходные с соответствующими движениями на Западе и назывались их именами. Фактически же, если проанализировать экономические основы этих движений, они окажутся во многом иными, чем как будто совпадающие с ними западные. В виду этого и утилитаризм, и руссоизм были не столько действительным мировоззрением соответствующих кругов японской буржуазии на данном этапе ее развития, сколько чисто политическим орудием, очень удобным, сильно действующим и способствующим как консолидации сил в определенном лагере буржуазии, так и повышению

его энергии. Этим и объясняется та путаница, которая царит, например, у многих японских утилитаристов, допускающих в своих работах одновременно и отзвуки конфуцианских доктрин, и идеи Милля и Спенсера, и отголоски учения об «естественных правах»; или же такие переходы, как например у Катō, исповедывавшего то «естественные права», то эволюционную теорию, то немецкий этатизм, то идею абсолютной власти монарха. Японский промышленный капитализм, эра которого наступала, нуждался, прежде всего, в насаждении новой техники, новой науки и в создании общей социально-политической обстановки, при которой новый класс мог этим пользоваться свободно и широко. Отсюда, обращение к англо-американскому утилитаризму, от которого фактически бралось только то, что могло содействовать этим целям, но который внешне фигурировал чуть ли не во всей своей полноте. Борьба японских аграриев, этого в те времена наиболее революционного отряда буржуазии, была направлена на заключение компромисса с промышленной частью этой буржуазии, на установление взаимного *modus vivendi*, который и был потом найден. Но в пылу этой борьбы, доходившей иногда до большой остроты, оказались весьма пригодны лозунги французской просветительной философии, несмотря на отсутствие предпосылок для их органического появления; прельщал внешний их радикализм и разрушительная сила. И свое дело они сделали; на этом этапе они оказались полезны.

Потом, когда японский либерализм достиг своих действительных целей, эти лозунги отпали само собой. Поэтому, если вообще влияние какой-либо идеологии, выросшей в одной стране, должно учитываться в другой стране, принимая во внимание особенности исторической обстановки и конфигурации борющихся сил, тем более это должно делаться в приложении к Японии.

II

При всех различных оттенках своих воззрений и взглядов новая японская буржуазия была на этом этапе своего развития согласна в одном: в отрицательном отношении к старому режиму. Это направлялось в первую очередь, конечно, на экономический и социально-политический строй, но распространялось и на прочие области. По одной из вышеприведенных тирад Фукудзава мы уже видели, как относились передовые японцы того времени к старому феодальному просвещению, как призывали они к борьбе с ним, к ниспровержению его. Такое же отрицательное отношение обнаружилось и к старой литературе.

Эта старая литература конечно не умерла в 1867 г. Переворот Мэйдзи, не сразу покончивший с феодализмом даже политическим, тем более не означал конца и феодальной литературы. Как и многие феодальные институты, как целый ряд феодальных традиций, феодальная литература продолжала оставаться и жить своей жизнью. Слагалась она из многих потоков. В области поэзии продолжали существовать старинные танка, восходящие еще к самым отдаленным временам японской истории; сочинялись хокку — трехстишия, главный расцвет которых связан с городами XVII-XVIII вв.; производились и китайские стихи — этот удел феодально-дворянского сословия прежних времен. Но все это никак не выходило за рамки простого эпигонства: танка оставались в основе придворной поэзией, культивируемой дворцовой Академией поэзии (О-ута-докоро) и свято соблюдающей традиции, установленные еще школой Кагава Кагэки (Кэйдзю) — Кэйэнха; хокку, хотя и имели ряд крупных представителей, точно также шли по путям, проложенным еще Кикаку и Хакую. Не вступали на новый путь, конечно, и поэты, пишущие по китайски, хотя среди них было немало крупных имен. И в так называемом Вабун'е Фукути Оти, Нарусима Рюхоку и другие не шли дальше своих предшественников. Одни из этих отраслей — как например танка и китайская поэзия — пока не обнаруживали никаких признаков обновления, оставаясь уделом либо узких слоев общества, либо уходящего класса. Другие, вроде хокку, были слишком связаны с традициями и, главное, слишком глубоко уходили в быт широких масс городского населения, чтобы суметь быстро перестроиться: революция быта, решительные сдвиги в обиходе, привычках и воззрениях этих широких масс, теперь средней и мелкой буржуазии, произошли значительно позже.

Наибольшее распространение имели другие отрасли феодальной литературы — различные виды художественной прозы, расцветшие в Токугавскую эпоху.¹ Они почти все перешли и в новое время. Продолжали писаться так называемые Ёмихон — дидактические романы, идущие от Бакина; Ниндзёбон — сентиментальные романы в духе Тамэнага Сюнсуй, Куса-дзёси — бытовые повести типа, установленного Рютэй Танэхико, Коккэйбон — комические романы, восходящие к Дзиппэнся Икку. Продолжала развиваться и драматургия Кабуки — пьесы Кякухон, в духе произведений Цуруя Намбоку. Масса городского населения, все эти потомки лавочников, ремесленников бывших феодальных городов, представители

¹ Об этом см. Iwaki Juntarō Meiji bungaku shi, стр. 26—42 (издание 42 г. М).

старозаветного купечества, иногда даже ведущие дела по новому, но сохраняющие старый уклад жизни — вся эта публика продолжала сохранять вкус и интерес к своей исконной литературе, особенно к этим пяти ее отраслям. Поэтому, она продолжала существовать и находить читателей.

Эта феодальная литература, проникшая в первые десятилетия нового режима, имела и своих крупных представителей: романиста Канагаки Рёбун, драматурга Каватакэ Мокуами и рассказчика Сан'ютэй Энтё. Первый создал получивший огромную популярность комический роман «Сэйё-хидза-куригэ», второй — ряд прославленных пьес, третий — целый жанр устного рассказа. В творчестве именно этих главнейших вождей старой литературы и лучше всего обнаруживается как направление этой литературы, так и ее роль в новых условиях.

Как видно из самого заглавия произведения Рёбун — «Сэйё-хидза-куригэ» («На своих, на двоих по Западному миру») автор хотел повторить на ином материале знаменитый роман Дзипэнся Икку — «Тёккайдё-тё-хидза-куригэ» («На своих, на двоих по Тёккайдёсской дороге»). Прообраз представлял собою рассказ о пешем путешествии двух Эдосских парней — Ядзиробэя и Китахати по знаменитому почтовому тракту старой Японии — Тёккайдё, соединяющему феодальную столицу Эдо с местопребыванием императора — древним Киото. Эти двое — один ловкий и пронырливый, другой менее поворотливый — переживают всяческие приключения, встречаются с различными людьми, наблюдают самые разнообразные картины и на все это реагируют в духе типично эдосского остроумия, отпуская характерные словечки, давая меткие характеристики, высказывая неожиданно острые суждения. Иначе говоря, это — комико-сатирический роман, в котором автор, пользуясь путешествием по самому оживленному тракту Японии, показывает чуть ли не все слои феодального общества, дает типичнейшие сценки из жизни наиболее характерных его представителей, преломляя это все в свете острословия и остроумия как будто простоватых, на деле же хитрых и разбитных парней, представителей низов городского населения. Подражание Рёбуна оживляет этих парней, только заставляет их пропутешествовать уже не по старому феодальному тракту, а по Европе. Новые Ядзиробэй и Китахати ухитряются присоединиться к богатому иокохамскому купцу и едут с ним в Лондон. Повторяется все то, что было в романе Икку: они наблюдают, попадают в различные переделки и на все реагируют острым словечком и метким суждением. Автор сам не был заграницей, и его Европа взята из рассказов его приятеля Томида Сяэн, из сочинений Фукудзава (главным образом из Seiyō-jijō и переводов). Но ко-

нечно, не в Европе было дело. Объектом сатирического воспроизведения и насмешливой оценки была та Европа, которая воспроизводилась в Японии. В ней на первых порах действительно было очень много нелепого, смешного. Хорошее символическое представление о ней в те времена в этом отношении дают дошедшие до нас рисунки, на которых можно видеть «эмансипированного» японца, костюм которого состоит из полуцилиндра на голове, японской накидки — хаори в качестве одеяния верхней части туловища, европейских брюк и японской деревянной обуви на босых ногах. Поэтому, для желающих открылось обширное поле для всевозможных насмешек и сатирических выпадов — от добродушных до враждебных. Сатира Робуна принадлежит скорее к первому роду, причем известную роль в ней играет и простое желание воспользоваться новым материалом. Но так или иначе, она является реакцией феодального человека на то новое, что разворачивается перед его глазами; видит он, даже в самом лучшем случае, взором представителя старого поколения и притом, конечно, никак не пытается выйти за пределы установленной его прообразом формы. Его произведение, несмотря на несколько новый материал, — явное эпигонство как по своим устремлениям, так и по распоряжению литературным материалом.

Если Робун все-таки хоть как-нибудь реагировал на новое, что стало проявляться в Японии, то второй крупный представитель феодальной литературы — Мокуами и не пытался выходить из рамок, установленных традициями прежней драматургии. Благодаря своему крупному таланту он смог, несмотря на положение эпигона, даже занять крупное место в истории этой драматургии и, по справедливости, слывет последним ее классиком. Обусловлено это в большой степени тем, что Мокуами работал для той среды, которая оказалась одним из наиболее устойчивых институтов феодальной культуры в Японии — для театра Кабуки. Во всяком случае, несмотря на целый ряд пертурбаций, случившихся с этим театром в последующее время, он до наших дней сохраняет незыблемо свои феодальные основы как в отношении актерского мастерства, так в известной мере и организационной структуры. Естественно, что и драматургия не могла идти вразрез с этим заведенным порядком, особенно при подчиненном положении автора по отношению к театру, и поэтому пьесы Мокуами как по форме и материалу, так и по тематике, не отходят от установленных канонов. Основным его устремлением остается дидактизм в духе традиционной феодальной идеологии с ее конфуцианской закваской и доктринами Бусидō «Пути война» самурайской этики. Он сам всегда считался как бы живым воплощением феодальных идей, старинных добродетелей, и та среда, для которой он

работал, в которой жил, с которой был связан всеми нитями своего существования, среда театра Кабуки только усиливала и укрепляла эти его традиции. Поэтому, даже те его пьесы, в которых он как будто берется за новый материал, как например пьеса на тему Сацумского восстания, написанная в самый год восстания, отнюдь не означают какого-либо поворота в его творчестве: это такая же типично-феодальная драма театра Кабуки, как и любое из многочисленных его произведений. В этом смысле Мокуами — фигура цельная, законченная и, благодаря своему недюжинному таланту, очень крупная.

Итак, одна часть феодальной литературы, если брать наиболее крупнейшие ее проявления, отражала критически насмешливое отношение к новому, к европейскому, отношение господствующее в некоторых кругах общества; другая часть говорила о гордом стоянии на прежних позициях, о нежелании сдвигаться с испытанных, проверенных веками, оправданных блестящей плеядой полноценных художественных произведений, позиций. Новый материал, если и попадал в эту литературу без насмешливого или враждебного к себе отношения, касался только внешней, поверхностной стороны новой культуры; деятели старой литературы и не пытались продумать его глубоко, до конца: к этому не приучала их старая литература, к этому они не были приспособлены и сами по всему складу своей личности. Для надлежащего понимания и оценки того нового, что появлялось вокруг них, нужно было иметь иные критерии. Система феодальных понятий для этого не годилась.

Третье ответвление феодальной литературы, пользовавшееся исключительной популярностью среди мелкого городского населения, был устный рассказ. Однако, и это искусство, как связанное с наиболее отсталой средой, тем более не обнаруживало никаких признаков обновления. Его темы, его форма, его идеологический склад продолжали оставаться на уровне его потребителей. О нем в это время можно говорить только в связи с искусством прославленного рассказчика Сан'ютэй Энтё, автора действительного шедевра такой сказовой литературы «Чудесного рассказа о пионовом фанаре» — «Kaidan Botan-dogo».

Все эти отрасли феодальной литературы могут изучаться и должны изучаться в связи с общим вопросом о судьбах феодальных институтов в новой Японии, о их роли в дальнейшем развитии буржуазно-капиталистического строя. С другой стороны, они получают особое значение тогда, когда перед новым классом, создающим свою собственную литературу, ставится во весь рост проблема так называемого феодального наследия,

проблема, с одной стороны, критического пересмотра, с другой стороны, обращения в свою пользу того, что было раньше. Это и случилось в 80-х годах, когда начала формироваться самостоятельная литература нового класса как обособленная отрасль специально литературного, художественного творчества, деятелями которого были уже писатели профессионалы. Тогда и произошло включение ее в арсенал средств для формирования этой литературы. Однако и тогда включена была собственно не эта литература эпигонов, о которой сейчас идет речь, но классическая литература эпохи расцвета феодальных городов, т. е. конца XVII и XVIII вв. Иначе говоря, не Канагаки Рёбун и не Мокуами помогли созреванию новой литературы, но старые классики — Сайкаку и Тикамацу. То же, что имелось теперь, эти протянувшиеся в новую эпоху отростки феодальной литературы, никакой положительной роли в формировании новой литературы не имели. На этом этапе пути новой зарождающейся литературы и старой еще никак не сходились. Литература феодальных эпигонов могла играть роль только отрицательную, поскольку она заставляла новых людей искать произведений, созвучных им, где-то в другом месте.

1

Нечего и говорить, что тем местом, где находили на первых порах удовлетворение не только своих политических, но и художественных запросов ведущие слои новой буржуазии, был тот же Запад. Вся политическая мысль заимствовалась отсюда, отсюда же заимствовалась и художественная литература. Строго говоря, другой литературы на первых порах для новой буржуазии не было. Так же, как для политической борьбы было более чем достаточно социально-политической философии Запада, так же вполне хватало для начала и европейского художественного творчества. В связи с этим и происходит перенесение художественной литературы Запада, призванной служить таким образом на время заместительницей своей собственной. Первые годы первоначального формирования буржуазии характерны именно полным отсутствием самостоятельной литературы; ее роль выполняет переводная. И в этом — характернейшая особенность истории литературы японской капиталистической буржуазии.

Несомненно также, что эта переводная художественная литература Запада служила прежде всего тем же целям, которые преследовались буржуазией вообще, и которые ставились в частности развитием ее общественно-политических взглядов. Иначе говоря, основные устремления про-

водников этой литературы были совершенно аналогичны устремлениям деятелей японского просветительного движения. Переводчик первого напумевшего европейского произведения — романа Бульвера Литтона «Эрнест Мальтраверс» так прямо и говорит в своем предисловии (ко второму изданию): «Целей у меня было две: одна — желание познакомить японцев с нравами и чувствами людей Запада; другая — с помощью этого знания дать возможность понять историю Англии за последние годы. Я говорю раздельно о двух целях, но вторая не является самостоятельной, она появляется как естественный вывод из первой. Поэтому можно обе эти цели свести в одну. И это будет: через жизнь чувства представить Запад, как он есть». Таким образом переводчик стремился к тому же, к чему стремился и Фукудзава, публикуя свое «Описание Запада», стремились и все прочие деятели просветительного движения: давать знание Запада, пропагандировать это знание. Этого требовала политическая необходимость, отчего этой основной цели было посвящено все действительно прогрессивное, актуальное в Японии. В таком служении общей задаче оно и получало свою актуальность.

Однако, на этом пути были возможны всякие оттенки и модификации. С одной стороны, этим характеризуется сложность общественных запросов того времени, с другой, это объясняет появление тех или иных произведений Запада на японской почве. Как выбор произведений для переводов, так и манера перевода, само восприятие переводимых произведений — все это дает обширный материал для суждения о состоянии японского общества в эти годы.¹

Какие европейские авторы попали в Японию в годы становления и первоначального укрепления новой буржуазии, т. е. в 70-ые и 80-ые годы прошлого века? Их было довольно много: тут были и англичане — Бульвер Литтон, Дизраэли, Вальтер Скотт, Свифт, Шекспир, Дефо; и французы — А. Дюма-отец, Жюль Верн, Поль Вернье, Фенелон, отчасти Гюго; русские — Толстой и Пушкин; немцы — Гете и Шиллер, испанцы — Сервантес, итальянцы — Боккаччио и даже «1001 ночь.» Состав, таким образом, был весьма пестрый и подбор самих произведений иногда достаточно странный. Однако, если присмотреться ближе, проследить степень влияния и известности каждого из этих авторов, то картина получится уже более определенной. Как и следовало ожидать, на первом месте, как по количеству выпускаемых переводов, так и по влиянию стояла литература

¹ Подробный перечень и краткие описания переводной литературы в этот период дает работа S. Yanagita, «Meiji honyaku bungaku kenkyu» (Nihon bungaku kōza, 4, 5, 7, 8, 9).

английская и рядом с ней французская. Имена Бульвер Литтона и Дизраэли, В. Скотта и Шекспира представляли первую; Жюль Верн и А. Дюма — вторую. Гораздо меньшее значение имели Шиллер, Боккаччио, Поль Вернье, Дефо. И наконец, совершенно случайный характер имело появление Толстого (отрывки из «Войны и мира»), Пушкина («Капитанская дочка»), Сервантеса (отдельные новеллы из «Дон-Кихота»), Гете (части «Рейнеке-Лиса»), Свифта (путешествие к лиллипутам из книги о Гулливере). Нужно помнить, что какой-нибудь системы и планомерности в переводной деятельности японцев не было, так что наряду с действительно созвучными и нужными для той эпохи произведениями появлялось и много чисто случайных вещей.

Таким образом, как в области социально-политической идеологии, в публицистике, так и в области художественной литературы царил гегемония Англии и Франции. Это становится понятным при свете как общих причин, так и социальных.

Общие причины в основном были изложены выше. Англия являлась для Японии тех лет ведущей страной. Страна развитого и крепкого промышленного капитализма была образцом для страны начинающей путь промышленно-капиталистического развития. Япония стремилась насадить ту же капиталистическую экономику, которую выработала и развила у себя Англия. Известное отражение, пусть и внешнее, получило в Японии и английское либеральное движение. При всем несовпадении этих явлений в их экономической основе, а отсюда и в целях, чисто политической стороны, японцы во многом пользовались идеями английского либерализма. Это было обусловлено совпадением в ряде формальных моментов. Большую роль в развитии английского либерализма сыграла Июльская революция 1848 г. От революции Мэйдзи 1867 г. отталкивался и японский либерализм. Английские либералы боролись за овладение парламентом; отсюда реформы 1834, 1867 и 1884 гг., демократизировавшие английский представительный строй. О том же представительном строе все время твердили и японские либералы, добившиеся в 1889 г. конституции. Несомненно, японский вариант буржуазного либерализма не только отличен, как разъяснено выше, от своего английского подобия по своей экономической основе, но отличается от него и своими конечными целями; поэтому он приводит и к иным результатам. Но тем не менее известные элементы сходства и совпадения были.

Точно так же были эти черты сходства и в общественной психологии страны влияющей и страны, подвергающейся влиянию. Утилитаризм, по-

зитивизм, эволюционизм были исповеданием передовой английской буржуазии тех времен. Эти же умственные течения соответствовали и интересам новой японской буржуазии. Но конечно здесь, как и во всех прочих областях, необходимо самым серьезным образом учитывать не только сходства, но и различия, и в первую очередь различие этапов в развитии капиталистического режима в одной стране и другой. Различием этапов обуславливается подпадение Японии под влияние Англии, различие процесса обуславливает своеобразие этого влияния. Эти два момента и определяют: какие именно авторы влияли, какими своими произведениями, какими именно сторонами этих произведений, как это влияние проявлялось и к чему приводило. Таким путем обрисовываются контуры двух специальных задач, могущих быть выведенными из изучения этого материала: установление японского варианта общей проблемы литературного влияния и прослеживание судеб литературного произведения за пределами той среды, в которой оно выросло и для которой в первую очередь существует.

Помимо этих общих факторов, открывших возможность проникновения в Японию и закрепления за ней европейской художественной литературы, были факторы и специального порядка, ближайшим образом вызвавшие это проникновение и утверждение. Таким фактором было прежде всего непосредственное соприкосновение Японии с англо-саксонским миром. Исторические причины этого соприкосновения были вкратце приведены выше. Общая политическая ситуация на Дальнем Востоке вызывала это соприкосновение и расширяла его сферы. Мы уже знаем также, что большинство деятелей просветительного движения побывали за границей, причем, главным образом, в Англии. За границу неустанно направлялись все наиболее передовые, наиболее активные представители нового режима, как члены правительства, так и общественные деятели. Известную роль играли и сами европейцы, в довольно большом числе начинавшие проникать в Японию. Открытые порты — Иокохама, Кобэ — сделались ареной непосредственного соприкосновения японцев и европейцев на самой японской почве. Именно эта политическая обстановка на Дальнем Востоке, поставившая Японию лицом к лицу с Англией, Америкой, Францией и Россией, а из этих стран более всего с первыми двумя, и была основной базой влияния этих стран на Японию. Известное же сходство в процессе социально-экономического развития этих стран сделали влияние конкретно возможным. Различия же в стадиях этого процесса, положение Японии как начинающей тот путь, на котором так далеко уже ушла Англия, обусловило то, что это влияние было односторонним, т. е. со стороны Англии; те же различия, которые

были в самом процессе и в его целях — при известном их совпадении — сделали то, что это влияние было крайне своеобразно.

2

Кто был конкретным проводником европейской художественной литературы в Японию? Для кого она переносилась? Ответ на эти вопросы ясен из всего предыдущего изложения: как проводниками, так и потребителями переводной европейской литературы были те общественные круги, которые, кроме этой литературы, другой не имели. Это была прежде всего передовая молодежь того времени, студенты многочисленных школ, появившихся в те годы; работники нового государственного аппарата; выросшие в новых условиях общественные деятели — политики и публицисты; нарождающиеся представители новой науки — преподаватели новых школ; принимавшие европейский облик промышленные деятели. Иначе говоря, это были передовые слои новой буржуазии — в первую очередь промышленной, с прилегающими к ней кадрами новой бюрократии, а затем и аграрной, главным образом в лице своих представителей из числа политических деятелей. Старая феодальная литература, проникшая и в новую эпоху, их удовлетворять ни в коем случае не могла; она ни в коей мере не соответствовала ни их умунастроениям, ни их целям. В сущности, выйдя к новой жизни, эта часть буржуазии оказалась на первых порах без художественной литературы. Правда, потребность в ней в первые годы особенно резко не ощущалась. В годы борьбы с феодализмом, в годы собственной перестройки, в годы закладывания основ капиталистического режима ведущая часть буржуазии нуждалась не столько в художественной литературе, сколько в литературе чисто политической и популярно-научной. Отсюда тот несомненный факт, что в первое десятилетие нового режима такого рода литература как переводная, так и оригинальная, не только доминирует, но и представляется почти единственной. Строго говоря, своей новой художественной литературы у ведущего отряда буржуазии не было.¹ Так что вполне правильно будет констатировать, что на первых порах, в первые годы борьбы литература нового класса во всем своем объеме исчерпывалась и покрывалась общественно-политической публицистикой и популярно-научной литературой; эти отрасли вполне заменяли собою недостающую литературу художественную в ближайшем смысле этого слова. И только

¹ О существовании в это время сильно развитой феодальной художественной литературы говорилось выше.

тогда, когда первый этап в развитии новой буржуазии был пройден, когда она почувствовала под собою уже вполне прочную почву, наступил черед и художественной литературы.

Перенесение европейской художественной литературы на японскую почву — не в качестве единичных эпизодов, а как целого потока, начинается в годы, ближайшим образом следующие за Сапумским восстанием 1877 г., т. е. вслед за окончательной победой нового строя. Переводы до этого носили случайный характер и проходили мало заметно. Кроме того, и число их было крайне незначительно. Современные историки японской литературы в эту раннюю эпоху разыскивали пока не более пяти названий, в том числе — части Робинзона Крузо (1872 г.), басни Эзопа (1873 г.),¹ некоторые сказки из «1001 ночи» (1875 г.). Появление переводной литературы, значительной и по числу, и по своей роли, должно быть отнесено именно к рубежу 80-х годов. В это время появились: Жюль Верн («В 80 дней вокруг света», 1877 г., «Путешествие на луну», 1880 г.), Бульвер Литтон («Последний день Помпеи», 1879 г., «Эрнест Мальтраверс», 1878 г., («Strange Story», 1880 г.), В. Скотт («Ламермурская невеста», 1880 г.). Свифт («Путешествие Гулливера к лиллипутам», 1880 г.), Фенелон («Телемак», 1879 г.). Как самый выбор этих произведений, так и их судьбы указывают на те задачи, которые при их помощи могли быть как-то осуществлены. Похоже на то, что в эти годы, непосредственно следующие за сильнейшим напряжением Сапумской войны, события чрезвычайно остро пережитого всей Японией, победившая буржуазия на некоторое время как бы дала себе некую передышку. Разумеется, эта передышка была весьма относительной как по своей продолжительности, так и по своему содержанию: движение за народные права продолжало развиваться дальше, очень скоро приняв организованные политические формы (образование Союза борьбы за установление срока конституции в 1879 г., образование первой партии Дзёйтё 1880 г.). Но так или иначе некоторая возможность обратить внимание и на те потребности, которые удовлетворены до сих пор не были, несомненно появилась. Отсюда и обращение к западной художественной литературе.

В эти немногие годы появилась повидимому жажда занимательного, развлекательного чтения. Необходимо учитывать, что последний период феодальной литературы приучил японцев именно к такого рода чтению: ко всякого рода приключениям (кидан) или чувствительным повествованиям (ниндзёбон). Горожане недавних времен любили волновать себя необычай-

¹ Басни Эзопа были частично известны и раньше (Isorpu-monogatari).

ными судьбами какого-нибудь феодального героя, или же лили слезы над несчастной судьбой двух возлюбленных, любили они при этом и поморализовать в духе традиционных добродетелей — сыновней почтительности, преданности господину, женской верности и т. п. Нынешние потомки этих горожан, по крайней мере передовые из них, не могли уже читать ни старой литературы такого сорта, ни новых подражаний ей. Поэтому, они и обратились к Западу. Стремление к занимательному чтению удовлетворял Жюль Верн, Свифт, в известной мере Бульвер Литтон, особенно своей фантастической «Strange Story» и историческим «Последним днем Помпей». Тяготение к чувствительному чтению удовлетворял Вальтер Скотт одним из самых сентиментальных своих романов — «Ламермурская невеста», тот же Бульвер Литтон — романом «Эрнест Мальтраверс». Однако, если присмотреться ближе к судьбам этих произведений на японской почве, обнаружится, что наряду с этими поводами, их появление имеет глубокие, более мощные корни. В основном, дело конечно не в стремлении разрядить напряжение предыдущих лет, особенно Сацумских годов (конфликт назревал постепенно и все время держал Японию в большом напряжении), но в расширении процесса перевооружения нового класса. Это расширение происходило за счет увеличения кадров, приходящих к новому строительству, с одной стороны, за счет охвата новой капиталистической культуры все больших и больших сторон их жизни, с другой. Новое мироощущение, сопровождающее укрепление капиталистического строя в формах хозяйства и политической жизни, проникало постепенно не только в узкие круги пионеров нового режима, но уже в более или менее широкие массы новой буржуазии; в тоже время оно стало охватывать теперь не только одну какую-либо сторону идеологии, но и общественную психологию в целом. Иначе говоря, началась и была нужна уже переделка не только социально-политических воззрений, но и всего строя чувствований и эмоций. Если европейская социально-политическая философия помогла первому, то художественная литература Запада должна была способствовать второму. Отсюда ее появление, отсюда ее роль как заместителя пока отсутствующей своей литературы. Вследствие же того, что эпоха перестройки общественной психологии в целом в духе капиталистической культуры, естественно, наступила не сразу после политического переворота, такое появление художественной литературы случилось тоже после известного промежутка — в данном случае приблизительно через десять лет.

При свете этих соображений выясняется роль переведенных авторов и произведений на этом этапе развития японской буржуазии. Уже выше

были приведены слова переводчика Эрнеста Мальтраверса, характеризующие цели его работы. Они прекрасно отражают именно эту новую установку японской буржуазии. Когда он говорит о том, что хочет познакомить японцев с правами и чувствами людей Запада, а затем с помощью этого знания дать возможность понять историю Англии за последние годы, эти его слова отражают, во-первых, расширение круга людей, подходящих к европеизации, во-вторых, наступление эпохи начала переделки всего психологического строя. Для этих более широких кругов буржуазии подходить к познанию западной науки было гораздо легче через научную фантастику Жюль Верна, чем через переведенный трактат по физике; приобретать познание о мире было проще через описание кругосветного путешествия, чем через учебник географии. Кроме того, необходимо учитывать и еще один дополнительный момент: первоначальное ознакомление воочию с завоеваниями науки и техники на Западе, всю силу которых японцы глубоко почувствовали хотя бы по пушкам Перри, вызвало после первых минут подавленности взрыв энтузиазма, весьма понятный для класса, желающего жить и начинающего жить по новому. Об этом энтузиазме выразительно говорит то воодушевление, с которым работали представители просветительного движения. И на этой почве возникла своеобразная романтика техники и науки — как один из возбудителей этого энтузиазма, в свою очередь явившийся необходимой психологической предпосылкой быстрейшего перевооружения на капиталистический лад. В связи с этим и появился в эти годы Жюль Верн, на этом основан его успех и в дальнейшем.

В то же самое время европейский роман — тот же «Эрнест Мальтраверс», как произведение, построенное на романтической интриге, рисующее душевный мир героев, демонстрирующее их переживания, способствовал и второму — переделке психологии. Не нужно упускать из виду, что в очень многих случаях психологические реакции японцев прежних времен на какие-либо явления совершенно не совпадали с тем, что в этих случаях испытывал европеец. Поэтому, с невыкорчеванной, хотя бы в основном, феодальной психологией работать в новых условиях было трудно. Таким образом эти европейские романы стали играть роль своеобразных учебников того, как мыслить и чувствовать вообще, и влияние их на общественную психологию несомненно.

Эту свою роль переводная литература исполняла, конечно, не только на рубеже 80-х годов. И в дальнейшем мы имеем ряд произведений, которые продолжают эту двойную линию: линию романтики техники и географических знаний и линию новой психологии. Выходят новые переводы

Ж. Верна: «Пять недель на воздушном шаре» (1883 г.), «60.000 лье под водою» (1884 г.), «Приключения капитана Гаттераса» (1886 г.), «Счастье Бегумы» (1887 г.), «Михаил Строгов» (1888 г.). С другой стороны появляются «Леди с озера» Вальтер Скотта (1884 г.), сентиментальная переделка «Ромео и Юлии» Шекспира (1885 г.), последняя даже два раза. Жажда занимательного чтения породила интерес к произведениям, построенным на приключении: так оказались переведенными ряд новелл «Декамерона» Боккаччио (1882 г.), «Сорок пять» А. Дюма (1881 г.); переделан как повесть о привидении («yūrei-monogatari») «Гамлет» Шекспира, вышла «Капитанская дочка» Пушкина (1883 и 1886 гг.), появился отрывок из «Войны и мира» Толстого (1886 г.). Однако, в установках новых читателей начинает все с большей и большей явственностью проглядывать и иная струя — политического интереса. Развертывание либерального движения, происходящее именно в начале 80-х годов, определенно стимулирует этот интерес. Разумеется, от этого другие задачи новой литературы не исчезают, точно так же, как и до сих пор несомненно существовала линия политического интереса. Но, сколько можно думать, с новым оживлением классовой борьбы политические запросы, предъявляемые к художественной литературе, начинают выступать с большей отчетливостью.

Где отыскивалось это политически-насыщенное чтение? Отчасти — в той же авантюрной и сентиментальной литературе, которая стала проникать первой. Именно как политический романист проложил себе дорогу в Японию А. Дюма. Его «Сорок пять» прошли без особого успеха. Это показательно в том смысле, что простой интерес фабулы, насыщенной всяческими приключениями, для нового японского читателя не играл главной роли. Успех Дюма начался с «Графини Шарни» (1882 г.) и «Иосифа Бальзамо» (1882 г.), т. е. с романов, где затрагивается французская революция. Что искали и находили японцы у Дюма, видно хотя бы из того, под каким заглавием его романы выходили: так например, «Графиня Шарни» была для японцев «Триумфальной песнью свободы» («Jiyū-no gaika»). Здесь фигурирует даже наиболее жгучее в это время словечко «свобода» (jiyū), вошедшее в название первой партии Дзидзюто. Для японского либерализма, пользовавшегося, как было объяснено выше, многими идеями и лозунгами французской революции, романы из эпохи этой революции были кстати, как делающие то же дело, что и переводы французских политических мыслителей. И крайне характерно, что при этом как-то ступсывались собственные политические позиции автора, его отношение к этой революции; само произведение и его герои воспринимались так, как их хотели воспринимать

читатели. Так например, «Иосиф Бальзамо», выпедший в самый разгар деятельности политических кружков (1882 г.) и первых партийных объединений явился для японцев как бы учебником конспирации, учил как организовывать политические союзы, как вести в них работу; Калиостро же воспринимался как борец за свободу. Политические же элементы находились и у Ж. Верна: в качестве революционного пошел его роман «Мартин Посс» (1884 г.), где описана перувианская революция. Это произведение Ж. Верна было снабжено даже специальным подзаголовком: «политический роман». С таким же подзаголовком вышел «Айвенго» В. Скотта (1886 г.). Переводчик «Юлия Цезаря» Шекспира (Цубоути Юдзō, 1884 г.), также открыл в нем что-то созвучное движению за свободу своей эпохи, охарактеризовав содержание произведения заглавием: «Меч свободы».

Наряду с обращением к уже более или менее известным писателям, в поисках политически насыщенной литературы, обращались и к новым. И здесь сказались общие тенденции эпохи: главными авторами, производившими наибольшее влияние на японцев в эти годы, были англичане Бульвер Литтон и Дизраэли. Почва для Бульвера Литтона была подготовлена его «Эрнестом Мальтраверсом» и «Последним днем Помпей». Однако, не эти романы сделали имя Литтона популярным. Своим влиянием он обязан главным образом своим двум романам: «Кенельм Чилингли» (1885 г.) и «Кола-ди-Риенци» (1835 г.). Что касается Дизраэли, то за ним место в Японии было закреплено романами «Конингсби» (1884 г.) и «Эндимион» (1886 г.). В дальнейшем появились и другие произведения этих писателей: Литтона — «Гарольд», «Царедворец Кальдерон»; Дизраэли — «Генриэтта Темплъ», «Контарини Флемминг».

Проникновение их обоих в Японию обусловлено, в первую очередь, непосредственными причинами: для Англии тех лет они были писателями современными и чрезвычайно влиятельными. Попадая в эту страну, или знакомясь с ней у себя на родине, новые японцы в области литературы наталкивались прежде всего на то, что имело тогда наибольшее хождение. Отсюда естественно их знакомство с этими авторами. Во-вторых, сыграла большую роль и личность самих авторов, их общественно-политический вес. Про Дизраэли, лорда Биконсфильда, и говорить нечего; даже Литтон, как парламентский деятель, мог привлечь внимание. Но конечно, основной причиной перехода их в Японию послужило содержание их произведений, их темы и идеология.

Как известно, основными политическими установками Дизраэли, литература для которого как политического деятеля, прежде всего, была

лишь одним из средств пропаганды этих установок, являлись: идея союза земельной аристократии с промышленной буржуазией под эгидой монарха («Конингсби»), пропаганда союза двух классов — правящего и производящего («Сибилла») и наконец утверждение английского империализма («Танкред»). Постоянным героем его является политический деятель — энергичный и предприимчивый, обладающий практическим чутьем и преисполненный честолюбия. В таком же духе и герои Литтона: это тоже сильные личности, одушевленные большими целями и преисполненные жажды возвышения. Таков например Кола ди-Риенци, «Последний римский трибун», борец за единство и свободу Италии. С другой стороны, Литтон касался вопроса о приспособлении старого английского дворянства к условиям капиталистического производства и быту буржуазного общества. Он показывает его метание на этой почве, власть денег в новом капиталистическом обществе. Словом, и тот и другой, пусть каждый по своему, ставят проблемы, которые в какой-то мере ставились и в Японии. Что такое по существу либеральное движение? В основном — это поиски *modus vivendi* между аграриями и промышленниками. Большинство этих аграриев вышло из недр феодального клана, принадлежало к числу прежнего дворянства. Процесс приспособления их к новым условиям капиталистического хозяйства происходил с большими трудностями; к тому же рядом возрастали противоречия между их интересами и требованиями промышленной буржуазии. Поэтому, эти темы в творчестве Литтона и Дизраэли не могли не звучать для японцев в эпоху подъема либерального движения. Затем и Литтон, и особенно Дизраэли, рисовали мир политической борьбы, разворачивали картины политических столкновений, причем в большинстве случаев в обстановке современности. И это одно должно было уже вызывать у японцев повышенный интерес к их творчеству, поскольку элементы политической борьбы в те годы стояли безусловно в центре внимания. Литтон и Дизраэли говорили о парламенте, были сами парламентскими деятелями, а темы «конституция», «парламент», «представительный строй» не сходили тогда с уст японцев. Английские авторы рисовали героев, сильных личностей, а каждый японский студент обязательно представлял себя будущим политическим деятелем. Индивидуалистические тенденции английских авторов находили живой отклик у представителей новой японской буржуазии. Именно эти элементы творчества Литтона и Дизраэли и оказались выдвинутыми на первый план, заслонив прочие черты их творчества. Различия в общественно-политических установках обоих авторов, представление ими разных слоев английского общества, отличия в общественно-экономи-

ческой подоплеке их творчества от того, что было в Японии, все это не воспринималось с такой отчетливостью, как первое. Иначе говоря, повторилась история, наблюдавшаяся в Японии с социально-политической философией Запада: как от этой последней было взято то, что находило отклик в современной японской обстановке, независимо, и часто даже вразрез с целым, точно так же и в произведениях художественной литературы Запада для японцев звучало только то, что в какой-то мере совпадало с актуальным для них, опять-таки часто без учета органической связи выделяемого с общим целым всей общественно-политической позиции автора.

Такой подход к произведениям Литтона и Дизраэли просвечивает сквозь заявления переводчиков. Так например, переводчики «Кенельм Чилингли» (Фудзита Мэйкаку и Одзакэ Йофу) рекомендуют переводимый роман так: «Внимание автора направлено исключительно на обрисовку современного состояния общественной жизни Англии; он смеется над ее недостатками и бичует свое поколение. Больше всего внимания он уделяет исправлению дурных сторон представительной системы.» Переводчик «Конингсби» так излагает содержание романа: «Герой романа вырастает среди чужих людей; сначала делается наследником аристократического дома, но затем теряет свои права, терпит всевозможные невзгоды, но в конце концов добивается успеха, делается членом парламента». В этом же смысле характерны и заглавия, даваемые переводчиками своим работам. Так например, «Кола ди-Риенци» идет под заглавием «Биография мужа, волнующегося за свое поколение», «Кенельм Чилингли» как «Рассказ о Кэйси» (начальные слоги имени «Кенельм» и фамилии «Чилингли» в японском произношении), бичующий его поколение и обличающий нравы». Заглавие «Эндимиона» переведено как «Три героя и две красавицы, или Волны чувства на политическом море». «Конингсби» снабжен подзаголовком «Политический роман» с специальным дополнением к заглавию: «Новый рассказ о политических партиях». Все это явно отражает все устремления читателей, которые учитывали или которые хотели пробудить переводчики.

Наряду с произведениями Литтона и Дизраэли под флагом политической литературы проникли и другие, не оставившие длительного следа, но одно время имевшие большой успех. Таков был например «Вильгельм Телль» Шиллера, появившийся в первый раз в 1886 г. под заглавием «Телль, или стрела свободы», во второй в 1887 г. под заглавием, «Телль, или повесть о свободе». Таковы далее романы из русской жизни. Один из них принадлежал перу француза Поля Вернье и вышел в японском переводе в 1882 г. под заглавием «Удивительная повесть о преследовании

партии нигилистов», «*Kyōmutō taiji kidan*»; содержание его переводчиком (Кавасима Тюносукэ) излагается так: «Повесть представляет собою историческое повествование и политическое рассуждение. Она излагает события, предшествовавшие убийству предыдущего императора (Александра II). В ней рассказываются причины, по которым возникла в России эта партия, как она разрослась и достигла нынешней силы; какие меры принимало против нее правительство, а также как оно ее разгромило и как смута снова сменилась спокойствием». Героями повести являются: сын некоего сановника Борис Никитин, его друг — француз Альбер, прекрасная нигилистка Анна, нигилист Степан. В том же 1882 г. вышла в свет книжка под заглавием «Удивительное происшествие в России или дело доблестной девушки» («*Rokoku kibun. Retsujo no gigoku*»), в которой рассказывается о деле Веры Засулич. Сохранились сведения еще о двух книжках на русские темы (1882, 1883 гг.), опять-таки, повидимому, о нигилистах. Одна из них фигурирует как «Политический роман» и издана под заглавием «О ниспровержении деспотического правительства». Прием, оказанный этим вещам, свидетельствует о большой путанице, царившей в оценках европейских произведений вообще, а также о различном восприятии их в одной и той же Японии. Так, успех «Вильгельма Телля» в известных кругах вероятно был обусловлен возможностью извлечь из него националистические нотки; повести о русских нигилистах интересовали и с точки зрения борьбы за свободу, и как рассказы о подавлении крайних элементов. Единообразного восприятия при сложности тогдашних общественных отношений не было. В одном, однако, сходилась большинство: в стремлении отыскивать в переводимых произведениях в первую очередь политическую сторону.

Крайне интересной и важной для понимания роли этой переводной литературы представляется и та форма, в которой она представала перед японским читателем. Здесь для начала необходимо остановиться на заглавиях. Заглавие книги есть первое, с чем знакомится читатель, первое, чем привлекается его внимание. С другой стороны, оно дает некий ключ к произведению. Эти два момента очевидно хорошо учитывались японскими переводчиками того времени и именно благодаря этому заглавия и могут служить для нас одним из показателей того, как сами переводчики понимали переводимую ими вещь, и какую сторону ее они считали для читателя наиболее завлекательной.

Как видно уже из приведенных выше примеров, в большинстве случаев переводчики не оставляли оригинальных заглавий, но создавали свои собственные. Причины этого вероятно различны: с одной стороны, говорила

привычка к типу названий, которые были распространены в прежнее время: в сравнении с длинными обстоятельными, красочными названиями Токугавских романов и пьес, европейские наименования могли казаться не эффектными, лишенными всякой притягательной силы. Что может говорить уму и сердцу заглавие «Иосиф Бальзамо»? Гораздо более может подействовать на читателя другое: «Кровавые потоки и бурные вихри на Западном море.» С другой стороны, японские переводчики стремились к тому, чтобы заглавие сразу говорило о предлагаемой вещи; оригинальные же заглавия, европейцу, может быть, что-нибудь и говорящие, для японца тех времен часто оставались пустыми звуками. «Мария Стюарт», как название пьесы Шиллера для японцев, пока не очень сведущих в истории Запада, ничего не означало. Поэтому переводчику пришлось переменить его на «Снег весною, или конец Мэри» «*Naqu-no yuki, Meri-no gosaigo*». Словом, по этим или другим причинам переводчики заглавия предлагаемых произведений обычно переделывали, и рассмотрение того, как именно они переделывали дает много интересного для понимания роли этих произведений в Японии.

В некоторых заглавиях мы видим явное отражение прежних феодальных образцов. Так например, в манере пьес Кабуки сделаны заглавия многих Шекспировских драм: «Юлий Цезарь» озаглавлен как «Последний удар меча свободы» («*Jiyū-no tachi nagori-no kireaji*») с добавлением — очевидно для того, чтобы европейское содержание было бы совершенно ясно — «Удивительный рассказ про Цезаря»; в таком же роде озаглавлена «Ромео и Юлия»; «Таинственная нить страсти, связавшая врагов» («*Ada musubi fushigi-no ironawa*») также с добавлением: «Поучительная история о девушке Запада» («*Seiyō musume setsuyō*»); «Перикл» озаглавлен: «Печальная разлука и удивительная встреча, или Зерцало Истины» («*Aibetsu kigu. Makoto-no kagami*») и т. д. Несколько в духе прежней феодальной беллетристики озаглавливаются и те произведения, которые в известной мере относятся к чувствительному чтению. Первое такое заглавие дал переводчик «Эрнеста Мальтраверса», представивший этот роман как «Весенний рассказ о цветах и ивах» («*Karyū shunwa*»). Оно имело настолько большой успех, что многие переводчики стали всячески ему подражать. Так появились «весенние рассказы» (*shunwa*), «чувствительные рассказы» (*jōwa*) и т. п. «Ламермурская невеста» называлась «Чувствительный рассказ о весеннем ветерке» («*Shumpū jōwa*»), «Генриэтта Темплъ» — «Весенний рассказ о двух фениксах» («*Soran shunwa*»). Напоминали старинные названия и такие заголовки, как «удивительный рассказ» (*kitan*) и

«прекрасный рассказ» (kiwa). Например, «Удивительный рассказ о мести на Западе» («Seiyō fukushu-kitan»), — «Монтекристо» А. Дюма; «Прекрасный рассказ о весеннем озере» («Shunko-kiwa»), — «Лэди с озера» В. Скотта. Однако большая часть заглавий старалась указать на политический интерес произведения, притом в том направлении, к которому призывала читателя передовая японская общественность того времени. Поскольку осью всех политических споров тогда была «свобода», постольку это словечко было, повидимому, у всех на устах. Его мы встречаем буквально всюду: в названиях печатных органов — газета «Свобода» («Jiyū shimbun»); различных организаций — издательство «Свобода» («Jiyū shuppansha»), общество «Свобода» («Jiyū konshinkai»); предприятий — бани «Свобода» («Jiyū-yu»), горячие источники «Свобода» («Jiyū-onsen»); существовали пирожные «Свобода и Долголетие» («Jiyū bansai kashi»), пилюли «Свобода» («Jiyū-gan»), ресторан «Свобода» («Jiyūtei»), танец «Свобода» («Jiyūdori»), полотенца «Свобода» («Jiyū-tenugui») и т. д.

Естественно, что слово «Свобода» было пущено в ход и в заглавиях переводимых произведений. Его мы находим в таких названиях как «Триумфальная песнь свободы» («Jiyū no gaika», — «Графиня Шарни»), «Стрела свободы» («Jiyū no issen», — «Вильгельм Телль»); оно проникло даже в такие, составленные в общем скорее в духе старинных, названия как «Последний удар меча свободы».

Однако, такой обработкой заглавий дело не ограничивалось. Желая как можно сильнее задеть в читателе те стороны, на которые в это время можно было больше всего рассчитывать, переводчики снабжали свои заглавия особыми подзаголовками, скорее «шапками», поскольку они ставились на первом месте.¹ Эти подзаголовки были двух родов: одни старались заинтриговать читателя, другие дать ему предварительное разъяснение. Так например, «Риенци» был снабжен подзаголовком: «Раскрыть книгу — опечалиться и вознегодовать» («Kaikan-kifun»). Разъяснительный характер имеют подзаголовки вроде: «Удивительные события в Европе» («Ōshu-kiji»), — подзаголовок «Эрнеста Мальтраверса»; «Удивительные вести из России» («Rokoku kibun») — подзаголовок к «Капитанской дочке»; «Политический роман» («Seiji shōsetsu»), — подзаголовок к «Айвенго» и т. д.

Создание новых заглавий было лишь первой работой, которую продельвали переводчики над переводимыми произведениями. Наряду с этим обработке подвергался и самый материал. Здесь мы находим ряд вариантов.

¹ Прием также заимствованный от прежней литературы.

Прежде всего мог быть различным самый перевод. Ода Дзюнитиро «Эрнестом Мальтраверсом» положил начало свободному смысловому переводу. Фудзита Мэйкаку и Одзаки Йофу в своем «Кенельм Чилингли» показали образец точного смыслового перевода. До переводов полноценных во всех отношениях, т. е. соблюдающих в точности и смысловую сторону и форму оригинала, переводчики этого типа еще не дошли. Почин такого перевода был положен Хасэгава Фтабатэй в его работе над переводом «Свидания» Тургенева. Но Фтабатэй был представителем иной полосы в развитии новой японской литературы. Поэтому то, что сделали переводчики «Кенельм Чилингли» для той поры было максимальным достижением.

Гораздо чаще переводчики не просто переводили, но обрабатывали свои оригиналы. О характере такой обработки могут дать представление следующие их заявления.

Переводчик 8-й новеллы 3-го дня «Декамерона» (1885 г.) заявляет: «Я выбрал для перевода рассказ о Ферондо и, дополнив его, сделал из него повесть о человеческих чувствах. Я воспользовался при этом многими другими рассказами и написал так, чтобы все повествование могли с легкостью понимать даже женщины и девушки».

О переводе 3-й новеллы 3-го дня (1887 г.) переводчик заявляет: «Оригинал представляет собою не более одного листика текста. Поэтому, я дополнил его и превратил в повесть. В оригинале, кроме того, не дано ни имен, ни фамилии героев. Это неудобно, почему я и дал им имена и фамилии. Чтобы сделать все понятным даже женщинам, я написал нарочно самыми легкими словами».

Переводчик «Войны и мира» Толстого (23-я глава I тома английского издания того времени), кстати сказать, преподнесенной японской публике под заглавием «Плачущие цветы и скорбящие ивы. Последний прах кровавых битв в Северной Европе», так говорит о своей работе: «В виду того, что в оригинале местами очень длинно и растянуто, я там, где нужно, сокращал».

Переводчик «Вильгельма Телля» (1887 г.), рекомендуя свое произведение, как политический роман, как картину движения за народные права, говорит: «Хотя я и не изменял общего содержания произведения, но много отдельных мест и выражений заменил другими».

Очевидно, такого рода работа переводчика была сильно распространена. Отголоски этого мы находим в одном замечании переводчика «Эндимиона»: «Есть два способа перевода» — говорит он — «один — переводить, следуя оригиналу, второй — переделывать оригинал, объясняя его и вставляя свои замечания. Я избрал третий способ. В наше время, к счастью, появилась

наука стенографии, и вот я пригласил одного ученого этой науки и, имея перед собою книгу, рассказывал ему по японски, что написано, а он записывал за мною. Таким образом мои мысли, мои слова целиком перешли на бумагу».

Нужно заметить, что со многими произведениями европейской литературы японцы на первых порах познакомились не по оригиналам, а тоже по переделкам. Так было, например, с Шекспиром, который попал в Японию сначала, главным образом, в прозаическом изложении. «Капитанская дочка», в первый раз (1883 г.) попавшая в Японию в сокращенном переводе с английского, под цветистым заглавием «Сердце цветка и думы бабочки. Удивительные вести из России», во второй раз (1886 г.) была совершенно англоязычена: Гринев превратился в Смита, Маша в Мэри. Одна новелла из «Дон-Кихота», переведенная под заглавием «Новый рассказ из Европы — соловей в долине», переведенная с французского, предстала пред японским читателем в исключительно «проработанном» виде: герой попадает в Италию в момент образования там итальянского королевства, так что в рассказе Сервантеса фигурируют сардинский король Карл-Альберт, Мадзини, Гарибальди. В другой новелле из того же Дон-Кихота упоминается о телеграмме, полученной героем от своих родителей. Кто повинен во всем этом, французский ли переводчик, или японский, не имея под рукой французского издания — сказать трудно. Характерно лишь то, что добавления идут как раз по тем линиям, которые интересовали японцев того времени, в первую очередь по линии политического интереса и европейской техники.

Таким образом, подвергались обработке не только заглавия, но и самый материал. Работа переводчика иногда заключалась в более или менее точном пересказе, прибегать к которому, взамен перевода, заставляло переводчика желание выделить нужные ему элементы. Так например, в сущности пересказанным оказался «Эндимион» Дизраэли, в котором сюжет построен на элементах политического романа. В других случаях роль переводчика сводилась к обработке произведения, с теми же целями. Это делалось либо путем сокращения, как например в «Капитанской дочке» Пушкина или «Гарольде» Литтона, где оставлены, главным образом, романические элементы; либо путем восполнения, как например в «Декамероне», где таким образом была усилена приключенческая сторона фабулы; делалось это иногда и тем и другим способом одновременно: так например, Цубоути в предисловии к переводу «Юлия Цезаря» говорит: «В виду отличия многих идей и положений в пьесе от наших, я многое изменил: часть выбросил, часть вставил».

Все это говорит лишний раз только о том, что над всем доминировали цели иного порядка, чем художественные. Переводимая литература была интересна, была нужна в первую голову своим содержанием, идеологией, но не формой, не внешним обликом. И далее: это содержание воспринималось опять-таки не в чисто литературном плане, а в плане жизненно-практическом. Отсюда вольное обращение с материалом. И в этом органическая связь этой литературы с научной и политической переводной публицистикой того времени: и та и другая лишь две стороны одного и того же явления.

3

При всем таком особом характере переводной беллетристики, она, несомненно, на первых порах в известной мере заменяла собою пока отсутствующую свою собственную художественную литературу. Это положение, однако, не было абсолютным: очень скоро начинает появляться и эта последняя. Японские авторы начинают не только переводить, но и писать.

Оригинальная художественная литература этих лет — если отбросить феодальных эпигонов — исчерпывается одним типом: это так называемый политический роман («seiji shōsetsu»)¹. Первые признаки формирования такого жанра появляются в 1879—1880 гг., когда этикетка политического романа приклеивается к произведениям Рюсуйтэй Танэкиё и Тода Киндо. Одно время эта оригинальная беллетристика существует как бы в тени переводной, однако с 1883—1884 гг. она начинает занимать все более и более видное место. Расцвет ее относится к 1885—1888 гг., после чего значение ее идет на убыль.

К этой литературе можно подходить с разных сторон. В современном японском литературоведении широко распространен взгляд на политические романы 80-х годов, как на литературу не только второсортную, но даже просто выходящую за пределы собственно художественного творчества. Такой взгляд основан на том, что к этой литературе стремятся подойти со стороны тех ее качеств, которые так сказать принято считать главными показателями художественной ценности. В самом деле: темы этих произведений почти всегда одни и те же: свобода, народные права, политическая борьба; сюжеты — однотипны, постоянно повторяются: герой, охваченный политическим энтузиазмом, героиня — обладательница выдающихся талантов и красоты, их любовь. Над большинством произведений несомненно

¹ Подробный список произведений, примыкающих к этому жанру, дается статьей S. Saitō, «Seiji shōsetsu kenkyū» (Nihon bungaku kōza, t. 8).

довлеет как тематический и идеологический, так и сюжетный штамп. Но если не отрывать эти произведения от той исторической обстановки, в которой они появились, получится оценка несколько иная.

Органическая связь этой политической беллетристики со своей эпохой выясняется прежде всего из ее тем. О чем говорит большинство произведений этого типа? Целый ряд их посвящен вопросам представительного строя. Как сказано было выше, манифестом 1881 г. было обещан созыв в 1890 г. (23-й год Мэйдзи) парламента. И вот, авторы начинают излагать свои суждения по вопросам народного представительства, связывая их с этим будущим парламентом. Таковы например: «Будущее в 23 г.» («23 nen miraiki», 1886 г.), «Будущее парламента в 23 г.» («23 nen kokkai miraiki», 1886 г.), «Колокол видений 23 г.» («23 nen mugen-no kane», 1887 г.), «Организация парламента. Великое народное собрание» («Kokkai soshiki. Kokumin daikaisi», 1888 г.). Другие авторы берут своим материалом Новую Японию. Таковы например «Новая Япония» («Shin Nihon», 1886 г.), «Новый мир в Японии» («Nihon shin-sekai», 1887 г.). Многие гадают о будущем: «Япония после введения парламентского строя» («Kokkaigo-no Nihon», 1887 г.), «После 23 г.» («23 nen go», 1887 г.), «Облики будущего» («Mirai-no omokage», 1887 г.), «Будущее Японии» («Nihon-no mirai», 1887 г.), «Политическое положение и состояние общества в будущем» («Shōrai-no seiji shakai», 1888 г.). Эти думы о будущем иногда касаются даже не одной Японии: «Новая Азия в XX веке» («20 seiki shin-Asia», 1888 г.). Фигурируют, конечно, темы свободы: «Заря свободы на Востоке» («Тоуо jiyū-no akebono», 1882 г.), «Светильник свободы» («Jiyūto», 1883 г.), «Зерцало свободы» («Jiyu no kagami», 1888 г.) и т. д. Иначе говоря, налицо вся основная тематика эпохи, хорошо знакомая по публицистике тех лет. Авторы, впрочем, не только не стараются как-либо затушевать свою близость к этой публицистике, но наоборот, прямо о ней заявляют. Суэхиро Тэттё, автор очень популярного романа «Сэттюбай», в предисловии заявляет: «В настоящее время в мире есть многое, что заставляет волноваться и негодовать. Поэтому в форме любовного повествования я и обрисовал современное политическое положение». Другой автор, Одзаки Юкио ставит вопрос даже на принципиальную почву: «Превратить себя в беллетриста, раскрывать свое сердце и душу в цветах, в воде, луне и таким образом заставить свой голос с легкостью дойти до ушей всех — такова в настоящее время обязанность наших политических деятелей».

Крайне знаменательно, что Одзаки говорит не о писателях, а о политических деятелях. Этим он и указывает на тот действительно примечатель-

ный факт, что в те времена, повидимому, понятие «писателя художника», как некоей особой личности, представителя самостоятельной профессии — не существовало. Уже из истории переводной литературы мы видим, что профессионалов-переводчиков как таковых, в сущности не было: переводили все те же «европейские ученые» («yōgakusha») — по образованию, политические и общественные деятели — по характеру своей деятельности. При этом, нередко один и тот же человек занимался переводом европейского политического сочинения и тут же романа. Цель у них была одна, и только пути ее достижения менялись и разнообразились. Точно так же обстояло и с оригинальной политической беллетристикой. За нее брались такие же политические деятели, видя в ней средство для достижения целей, поставленных в порядок дня классовой борьбой в данный момент.

Важно отметить, что обращение к художественным средствам пропаганды политических задач обозначилось после Садумского восстания. Восстание это — крайне сложное по тем общественным силам, которые в нем участвовали или его поддерживали, закончилось разгромом мятежников. Однако, борьба после этого не утихла: она только перешла в другую фазу и приняла другие формы. Оппозиционно-настроенная часть буржуазии — из помещичьих и мелко-буржуазных кругов, бывшая готовой чуть ли не примкнуть к мятежникам, после неудачи восстания более уже не помышляла о выступлении против правительства с оружием в руках и перешла к политической борьбе. Как известно, эту борьбу повела в первую очередь пресса, памфлетная литература, что вызвало ответные репрессии правительства, направленные на политическую печать. Поэтому приходилось думать о других орудиях борьбы. Отсюда — обращение к художественным произведениям, принимавшим, таким образом, иногда характер чисто аллегорических сочинений в духе высказываний Суэхиро Тэттё. Некоторые романы так прямо и имеют подзаголовок: «аллегорическая повесть». Именно в этой необходимости обращаться к иным путям пропаганды своих идей и заключается одна из причин появления политической беллетристики.

Наряду с этим слова Одзакі говорят и о другом: он указывает, что посредством художественного произведения можно довести свои политические идеи до слуха широких масс, или как он говорит буквально — «вульгарных ушей». Такое его заявление становится понятным, если сопоставить его с тем, что было изложено выше при объяснении появления переводной литературы. Это значит, что европеизация Японии, т. е. капиталистический режим понемногу захватывал все более и более широкие круги

населения, перестраивая не только их деятельность, но меняя и их психологию. Если для одних—ведущих слоев японской буржуазии—нужна была социально-политическая доктрина в ее чистом виде—в форме политического трактата, если она могла интенсивно перестраивать свои воззрения и чувствования именно на такой основе, то для другой части японской буржуазии для этих целей были более удобны, по крайней мере для начала, эти же доктрины, облеченные в доступную, художественную форму. Кроме того, фраза Одзаки указывает и еще на одно обстоятельство: помимо всего прочего обращение политических деятелей к роману мотивировалось также необходимостью расширить общественную базу тех групп, выразителями стремлений которых они были. В той борьбе, которая велась между различными лагерями буржуазии, штаб каждого лагеря старался привлечь на свою сторону как можно больше сторонников. Учитывая же уровень и особенности склада широких кругов буржуазии, которые и были непосредственным объектом такого привлечения, приходилось прибегать и к средствам политически насыщенной беллетристики. В этом—вторая причина появления политического романа в это время.

Однако, этим двойным объяснением ограничиться нельзя. Обе приведенные причины, конечно, имели свое значение и очень большое, но кроме них можно указать и еще на одну. Новая японская буржуазия начинала нуждаться в новой художественной литературе, адекватной ей, созданной ею, для нее существующей всеми элементами своего бытия: идеологией, темпами, материалом. Творчество феодальных эпитонов дать что-либо в этом отношении, разумеется, не могло. В известной мере эту потребность удовлетворяла переводная литература, но так могло продолжаться только короткое время. Как бы ни была интересна и полезна эта литература, она не могла стать близкой, ощущаться как кровно связанная с жизнью и думами своих читателей: при всей обработке, которой она подвергалась, все же слишком было велико расстояние между той стадией, на которой она выросла у себя на родине, и той стадией, в которой пребывали ее новые читатели. Действительно близкой этим читателям могла быть только собственная оригинальная литература. И к созданию такой японская буржуазия постепенно подходила. Ее начало, ее первые шаги—политическая беллетристика 80-х годов. Потребность же в своей собственной художественной литературе—как естественное следствие роста нового класса, возможность ее создания—как результат укрепления его сил, необходимость этой литературы—как орудие дальнейшей перестройки человеческого материала этого класса для получения.

нового оружия в классовой борьбе — такова основная причина появления политического романа.

Эта беллетристика не даром носит название политической. Название это не придумано позднейшими историками литературы. Оно родилось вместе с нею самой. Мы уже видели, что даже часть переводных произведений фигурировала под названием «политическая повесть». Этот же термин стал прикрепляться в виде подзаголовков к большинству вновь выходящих оригинальных произведений. Повидимому, он был настолько распространен в то время, что мы обнаруживаем даже известную спекуляцию им. Учитывая, что читатель стремится только к одному — чтению политическому, предприимчивые авторы, заботясь о сбыте своих произведений, часто снабжали их таким подзаголовком, не взирая на весьма отдаленное его отношение к содержанию. К этому прибегали иногда даже писатели феодального лагеря. Это означает только то, что этот термин действительно отмечал главное, что в первую очередь интересовало читателей и характеризовало содержание большинства таких произведений. Это мы видим хотя бы по перечню тех тем, которые в них преобладали.

Такое лицо беллетристики этого времени обусловило и еще одну характерную особенность ее. Очень часто провести границы между тем, что здесь художественное творчество, что публицистика — очень трудно. Достаточно взять хотя бы несколько названий из числа вышеприведенных, чтобы увидеть насколько «публицистичны» эти названия. Тем более это становится ясным при ознакомлении с содержанием самих произведений. Иногда они почти целиком представляют собою политический трактат, отличающийся от обычных только более популярным, так сказать «беллетристическим» изложением; иногда они — что-то вроде истории, также «общедоступно» изложенной. Даже там, где налицо романическая интрига — и то повествование заполняется всяческими рассуждениями, отступлениями и т. п. В этой близости к публицистике — вторая особенность этого первого шага новой японской художественной литературы.

Наиболее крупными по значению памятниками этой литературы являются три произведения: «Прекрасное повествование об управлении государством» («Keikoku-bidan», 1883 г.), «Удивительные встречи красавицы» («Kajin-no kigū», 1887 г.), «История проникновения цивилизации на Восток» («Bummei-tōzenshi», 1884 гг.).

Первое произведение принадлежит перу Яно Фумио (Рюкэй), известнейшему политическому деятелю новой Японии, занимавшему одно время видные правительственные посты, крупному публицисту, игравшему боль-

пую роль в общественном движении. Такая фигура характерна для новой литературы, которая и создавалась как одно из орудий политической борьбы ее участниками. Материалы романа взяты не из японской жизни. Для того, чтобы высказать свои политические взгляды, для того, чтобы указать те пути, по которым, по мнению автора, следует вести Японию, автор берет древних фиванских греков. Герои его — Эпаминонд и Пелопид. Они скорбят о том, что их государство находится в трудном положении, что ему со всех сторон грозят опасности, что оно раздираемо смутами; вместе с этим они рассуждают о тех средствах, которыми можно государство из такого состояния вывести. Эти средства — воинская сила и ораторское искусство, т. е. политическая деятельность. Этими путями они и спасают свое государство.

Нетрудно видеть, что древняя Греция здесь не причем: якобы греческая обстановка служит лишь для маскировки японской. Те пути, которые намечают два древних героя, — те же самые, о которых помышляли руководящие деятели новой Японии. Все это было совершенно ясно для читателя тех лет, и на этом основан тот прием, который этому произведению был сделан тогдашней молодежью.

Второе произведение — «Удивительные встречи красавицы» также принадлежит яркой политической фигуре новой Японии — Сиба Сирō (Тōкай-Санси). Сиба совершенно новый человек. Мало того, что он в Японии изучал английский и французский языки, знакомился с европейской наукой; он долго прожил и в Америке, где сначала учился в коммерческом училище, а затем окончил филаделфийский университет. По возвращении в Японию он весь отдался политической деятельности, являясь почти бессменным членом парламента. Побывал он и в правительстве, занимая в нем одно время высокие посты: товарища министра земледелия и торговли, члена Совета министерства иностранных дел.

Роман его, по своему материалу, тоже не японский. Действие в нем происходит в Америке во время борьбы за независимость. Героиня — некая красавица ирландка. Она — политическая эмигрантка из своей родины, поработенной Англией. Вокруг нее группируются такие же эмигранты из всех стран. Их среда и описывается автором. В повествование включены длинные описания разных стран, экскурсии в их историю, введены китайские стихотворения. Все излагается временами очень цветистым языком, уснащенным всевозможными гиперболизмами. По своей популярности это произведение стоит не только не ниже, но может быть даже и выше предыдущего.

Третий из наиболее известных политических романов — «История проникновения цивилизации на Восток» Фудзита Мокити (Мэйкаку) принадлежит, как и показывает его заглавие, скорее к истории. Оно состоит из двух частей. В первой автор рассказывает о появлении европейской культуры в Японии еще в XVI в. и доводит рассказ о ее судьбах до середины XIX в., т. е. до самого преддверия новой эры. Во второй части он повествует о двух проводниках этой культуры, действовавших в 30-х годах прошлого столетия — Ватанабэ Кадзан и Такано Тёэй, бывших представителями так называемой голландской науки (рангаку), как называлось тогда в Японии всякое европейское знание. В этой части приводятся и подлинные документы — сочинения этих лиц.

Эти три произведения хорошо освещают ту картину, которая развертывалась в Японии в то время. Трудности внешние — начинающаяся борьба с западным капиталом, сумевшим навязать Японии неравноправные договоры, трудности внутренние — острая борьба, приведшая даже к гражданской войне, антагонизм отдельных групп буржуазии — все это ставило новое Японское государство временами в очень трудное положение. Отсюда — поиски выходов. Их намечает с помощью греческих образов, Яно Фумио: создание крепкой военной силы и авторитетного политического руководства.

Вопросом жизни и смерти новой буржуазии в условиях международного капиталистического окружения было возможно быстрое перевооружение на новый европейский лад, приближение к уровню передовых капиталистических стран. Отсюда — стремительное обращение к европейской культуре. Историческое повествование Сиба разъясняет значение этой культуры, рассказывая о процессе проникновения ее в Японию и рисуя его героев.

Сложная внешняя обстановка, постоянная угроза со стороны Запада вызывали стремление к консолидации сил внутри страны, с одной стороны, и затаенную враждебность к наиболее сильным представителям Запада, с другой. Одним из таких была Англия. Отсюда — роман, где говорится о борьбе с этой поработительницей Англией, где выведены все ею обиженные и угнетенные политические эмигранты. Так, эти произведения политической беллетристики уходили своими корнями в живую действительность того времени. И в этом — основная причина их успеха.

Необходимо отметить, что под флагом политического романа появлялись далеко не однородные вещи. Из только что описанного уже явствует, что наряду с произведениями, к которым может быть с некоторыми оговорками и приложимо название «романа», под таким же названием

фигурировали и произведения, в сущности скорее исторического характера. Кроме того, эти же наименования давались нередко и сочинениям публицистическим, только в более популярном изложении. Выступала под этим именем иногда и политико-просветительная литература. С другой стороны, название «политический роман» часто приклеивалось к произведениям, приближающимся скорее к типу уголовных романов, основным содержанием которых были рассказы об убийствах, преступлениях, впрочем большею частью, в угоду требованиям времени, соединенные с политической подкладкой. Иными словами, этикетку «политический роман» можно было встретить на самых разнообразных произведениях.

Рядом с этим отличался большим разнообразием и их материал. В большинстве случаев авторы пользовались, конечно, материалом своим, японским; однако, пример вышеприведенных произведений, притом наиболее популярных, обнаруживает, как охотно авторы брались и за европейский материал. В виду же этого, при таком обращении к иностранным источникам, степень его использования, т. е. граница, где кончается простой перевод или пересказ, и где начинается оригинальное творчество, часто оказывалось весьма неясной.

Все эти обстоятельства очень усложняют литературный анализ того явления, с которого начинается история новой японской литературы и которое фигурирует в Японии под наименованием политического романа. Но все же основное содержание его, т. е. то, что может быть названо политическим романом в ближайшем смысле этого слова, может быть охарактеризовано следующим образом: японский политический роман 80-х годов, как самостоятельное явление художественной литературы, есть особый вид произведений, построенных на материале, заимствуемом из японской (непосредственно или иносказательно — через европейскую) политической действительности, классовой борьбы тех лет, развивавшейся, по крайней мере внешним образом, вокруг вопроса о представительном строе, а также вокруг проблемы внешней опасности; это есть вид произведений, по обработке этого материала представляющий смесь беллетристических и публицистических элементов, в зависимости от преобладания какого-либо из них — то сентиментальных по стилистическому облику, то риторических; вид произведений, авторами которых являются политические деятели, сознательно относящиеся к своей работе как к одному из орудий в происходящей борьбе.

С известными модификациями, произведения, подпадающие под такое определение, составляют основное ядро того, что называется политическим

романом этих лет. Вокруг же этого ядра группируется ряд инородных и разнородных литературных явлений, тяготеющих к другим жанрам: одни — к политической публицистике, другие — к агитационно-просветительной литературе, третьи — к уголовному роману.

4

Все вышеизложенное позволяет сделать некоторые историко-литературные выводы.

Литература нового класса, в данном случае промышленной буржуазии, поднимающегося в условиях внешнего капиталистического окружения и в известной мере наступления, в условиях борьбы со старым режимом — в данном случае с феодализмом, класса, вынужденного силою исторической обстановки быстро и решительно перестраиваться, чтобы догнать те страны, которые могут ему угрожать, — на первых порах почти полностью сводится к литературе научно- и политико-просветительной, от научного трактата до газетной прессы включительно; сводится к литературе, целиком построенной на заимствованном или в известной мере приспособляемом классово-родственном, и в этом смысле идущем впереди, иностранном, — в данном случае западном, материале; сводится к литературе, находящейся в полном соответствии с теми задачами, которые ставит себе на данном этапе ее класс, с одной стороны, и почти всегда осознаваемой ее создателями — передовыми представителями этого класса — как одно из мощных орудий вооружения и переделки своего класса, в первую очередь — его социально-политического мировоззрения.

В дальнейшем, с развитием классовой борьбы, с одной стороны, с расширением социальной базы нового режима, с приходом к новой хозяйственной и политической деятельности новых, более широких слоев буржуазии, в борьбе за эти новые слои, которую вела передовая часть этой буржуазии, с другой стороны, в связи с появлением новой очередной задачи роста класса — переделки его психологии в широком смысле этого слова — вводится литература художественная, точно так же, как и научно- и политико-просветительная, в первую очередь заимствованная, т. е. переводная, но тем не менее на некотором этапе заменяющая собою отсутствующую пока свою собственную; вслед за тем появляется и оригинальная, но также создаваемая по образцам и частично даже прямо по материалу иностранному, в данном случае — западному. Насадителями первой и создателями второй при этом являются не писатели-профессионалы, но те же политиче-

ские деятели, относящиеся к своей работе как к одному из средств активного воздействия на читателя в соответствии с теми задачами, которые ставил себе на данном этапе класс. В виду этого и отбор произведений для переводов и выбор иностранного материала для создания собственных произведений, выбор собственного материала обусловлен в первую очередь целями и задачами классовой и внешне-политической борьбы. Точно так же выбор тем и приемы обработки сюжета в литературе оригинальной также диктуется стремлением довести до читателя нужную на данном этапе идеологию и при этом наиболее действительными средствами. В виду же того, что в условиях классовой борьбы над всем доминируют политические факторы, и темы для этой оригинальной беллетристики выбираются почти исключительно из арсенала основных политических идей данного этапа. Этим определяется и жанр новой литературы: политический роман.

В связи с такой полнотой включения как политико-просветительной литературы, так и художественной в общую борьбу класса, наблюдается отсутствие резкой грани между той и другой: с одной стороны, первая при условиях популяризации иногда близко подходит к беллетристике; с другой стороны, вторая иногда граничит с просветительной литературой. Поэтому для первой и для второй характерен общий политико-публицистический, в известной мере агитационный колорит. В то же самое время, благодаря обработке переводимых вещей, часто стирается и резкая грань между переводными произведениями и оригинальными.

Помимо того, что оригинальной эта художественная литература может быть названа только условно, на невысоком уровне стоит и ее художественность, если исходить в оценке таковой из критериев оригинальности темы, самостоятельности в выборе и разработке сюжета, целостности и яркости стиля, гибкости и выразительности языка, общей творческой талантливости авторов. Все эти качества в ней выражены слабо. Художественная литература, в этом отношении полноценная, появляется лишь на следующем этапе ее развития.

Подобно тому, как борьба вновь поднимающегося класса происходила в обстановке постепенно изживаемого или трансформируемого феодального окружения, и литература этого класса существует в окружении проникших в новую эпоху ответвлений прежней феодальной литературы. При этом на данном этапе соотношение этих двух линий является отрицательным, поскольку новая литература исходит либо от заимствованных иностранных материалов, либо от тех сторон окружающей действительности, которые представляются новыми, принадлежат уже к капиталистическому пути раз-

вития. Проблема феодального наследия на данном этапе если и ставится новым классом, то с точки зрения отрицания его, но не усвоения, хотя бы и критического. Это происходит на следующем этапе развития нового класса, когда создается действительно оригинальная и художественно полноценная литература нового класса.

Но вместе с тем по той огромной роли, которую именно эта литература играла в жизни своего класса в очень ответственный ее момент — в эпоху его становления и первоначального укрепления, по той исключительности, с которой она была слита с борьбой этого класса, — этот подготовительный этап истории новой японской литературы имеет и свое собственное яркое лицо, и свое крупнейшее значение. Наряду с этим, именно на этом подготовительном этапе вскрывается особый характер влияния иностранной литературы, входящей в данную страну не в своем самодовлеющем облике, но в облике приспособленном и видоизмененном часто до неузнаваемости, и в таком именно виде играющей роль не просто переводной, но в известной мере и оригинальной. На данном этапе эта иностранная литература не столько влияет в точном смысле этого слова на литературу свою, независимо от нее развивающуюся, сколько входит в ее состав как ее неотъемлемая часть.

ЛИТЕРАТУРА

1. Iwaki Juntarō. Meiji bungaku-shi (Meiji, 42).
 2. Takasu Hōjirō. Nihon gendai bungaku juni-kō (Shōwa, 3).
 3. Fujiwara Kiyozō. Meiji kyōiku shisō-shi (Meiji, 42).
 4. Статьи из Nihon bungaku kōza (Shinchōsha):
 - 1) Ikuta Choko. Meiji bungaku gaisetsu.
 - 2) Yanagita Sen. Meiji-no honyaku bungaku kenkyū (тт. IV, V, VII, VIII, IX).
 - 3) Saitō Shōzō. Seiji shōsetsu kenkyū (т. VIII).
 - 4) Takasu Hōjirō. Oka-shugi, kokusui-shugi-no bungaku (тт. XIII, XIV).
-

Б. А. ВАСИЛЬЕВ

ИНОСТРАННОЕ ВЛИЯНИЕ В КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОХИ ИМПЕРИАЛИЗМА¹

ПРИСТУПАЯ к изложению темы данной статьи, предварительно необходимо формулировать понятие «литературное влияние». Как известно, литературное влияние, понимаемое широко, включает и заимствование и подражание. Немарксистские литературоведы спорят о том, как определить понятие «влияние», и в своем споре разделяют его на так называемое «невольное восприятие», т. е. влияние в собственном смысле этого слова, «преднамеренное», которое идентично подражанию и, наконец, «сознательное», которое понимается как заимствование, отличается от влияния и является с их точки зрения использованием продукта чужого творчества как материала самостоятельно претворяемого. Во всех этих определениях главенствует идеалистическая концепция, мы не видим в них принципа обусловленности, между тем как литературное влияние, даже в форме подражания или заимствования, есть только тогда влияние, когда оно будет теми толчками, теми воздействиями извне, которые влияют на развитие классовой литературы. И чем противоречивее социальный состав литературы, чем глубже в ней классовые противоречия, тем разнообразнее будут литературные влияния. Литературное влияние только тогда будет иметь место, когда между социальной психологией группы влияющей и группы, испытывающей это влияние, существует достаточная близость, для чего необходима однородность экономических баз, питающих эту социальную психологию. Отсюда можно формулировать, что без этих условий нет влияния, а есть лишь реминисценции и заимствования, т. е. факты чрезвычайно не показательные.

¹ Материал данной статьи ограничен литературой до 1927 г., что объясняется отсутствием новых поступлений и неполным подбором литературы, которая представлена только главнейшими писателями.

С таким именно пониманием влияния и с учетом всех высказанных оговорок мы и переходим к данной теме. Наша задача на востоковедном фронте сейчас — строить новое, переоценивая старые ценности. Если условным является понятие «востоковедение», которое по существу равняется изучению экономики, истории, литературы и языка стран Востока — колониальных, полуколониальных и советских, — то тем более условно буржуазное понятие «синология». Синология, по существу говоря, является не более как китайской филологией, т. е. наукой о тексте, его овладении и узко филологическим суждением о нем. В таком виде синология являлась подсобной дисциплиной, подсобным орудием. И едва мы перейдем к суждениям о содержании текста — перед нами предстанет ряд самостоятельных дисциплин, как экономика Китая, история, литература, язык и т. д.

Так называемая синология, обнимавшая историю, археологию, литературу, отчасти экономику, религию, философию, язык Китая, и подходившая ко всему этому материалу филологически, в области методологии являлась отсталой, по сравнению с методами для тех же дисциплин на западном материале. В частности, в области изучения китайской литературы синология находится в стадии, далекой даже от таких буржуазных методов изучения как историко-культурный, психологический (сравнительной школы) или формалистический, и является только приближающейся к этим методам. «Синологи» рассматривали китайскую культуру как нечто самобытное, идущее своим путем развития, как своего рода «экзотику». Эпиграфом для характеристики такого понимания Востока буржуазными учеными можно поставить слова Киплинга «Запад есть Запад, Восток — Восток». По истории китайской литературы в синологии так мало было работ, что необходимо дать некоторую иллюстрацию их характера.

Все то, что мы имеем в синологии по части истории китайской литературы может быть легко разделено на три группы. Первая группа является школой описательного метода, который представляет собой не что иное, как зародыш историко-культурной школы типа Веселовского. К синологам этого типа мы можем отнести старейших синологов W. Grube и акад. В. П. Васильева. Работы этих синологов в области истории китайской литературы представляют собой общую сводку материалов с чрезвычайной расплывчатостью социологических понятий, таких как «народ, национальная культура» и т. д. Синологи этого типа не дошли ни до анализа, который равнялся реконструкции былых общений, ни до дидактического комментирования приводимых материалов.

У Грубе работа заключается главным образом в описании материала с избытком цитат, причем основное внимание уделяется конфуцианству, без всякого анализа. Достаточно сравнить число страниц в различных отделах его работ, которые посвящены истории китайской литературы, как мы сейчас же убедимся, что все основное внимание этого ученого направлено на древне-китайскую литературу и лишь ничтожная часть отведена на более или менее современный материал, если таковым вообще считать XVIII в., на котором и кончаются работы Грубе.¹

У В. П. Васильева мы видим такое же описание памятников конфуцианства, даосизма и буддизма, имеющих чрезвычайно малое отношение к материалам китайской художественной литературы. Чрезвычайно любопытно посмотреть с какой точки зрения эти синологи рассматривают анализируемый ими материал. Вот что пишет В. П. Васильев в своей истории китайской литературы: «Мы знаем, что чем меньше книг у восточного человека, тем больше он углубляется в них, отыскивая в них то, что кажется для нас совершенно невозможным» (стр. 501).

А относительно влияния тот же синолог высказывает такую точку зрения: «Если книга Чунь-Цю оказала влияние на истолкование Шицзина, потребовав от него исторических сказаний, то теперь, со своей стороны, нравственность, зародившаяся по той же способности китайцев углубляться в смысл каждого стиха Шицзина, охватила и самую Чунь-Цю» (стр. 502).

Дидактика в литературоведческом исследовании В. П. Васильева не менее характерна: «Чем взял в Китае буддизм, это всего лучше видно из того, что на всех алтарях Будды читается Саддарма Пундарика, тогда как у непросвещенных тибетцев и монголов читается Парамита — высшая метафизика, которая, разумеется, выше их понимания, потому и читается. Пундарика же говорит о любви, о милосердии божием, о заботе промысла, отзыве на каждую теплую молитву — вот чего недоставало Китаю» (стр. 546).

Из этих цитат мы в достаточной мере убеждаемся в каком направлении работали ученые, которых мы относим к первой школе.

Работы сиологов, относящиеся ко второй группе, являются работами, построенными на так называемом психологическом методе, который не дошел, однако, даже до типа Гершензона или до сравнительной школы, т. е. он не дошел даже до текстологического анализа отыскания сходства слов и выражений без правильного осознания конвергенции.

¹ Во всей книге W. Grube «Geschichte der Chinesischen Literatur» — 350 стр. уделено литературе до XI в. и 90 стр. отведено на все остальное до XVIII в.

Психологический метод базируется на индивидуальной психике, которая ничем не детерминирована, и история литературы, написанная представителями этой школы, является историей личностей. К этой школе мы относим таких ученых, как Herbert Giles и Richard Wilhelm. Работа представителей этой школы строится на субъективно-идеалистической основе, и продукты искусства понимаются как продукты индивидуального творчества. В отношении распределения материала мы замечаем то же предпочтение литературе древнего периода по сравнению с литературой новейших эпох. Так например, у Вильгельма на всю его книгу падает всего лишь 4 стр.,¹ которые он отводит литературе эпохи империализма, причем все описание, по существу говоря, сводится к описанию культурного состояния Китая, понимаемого как единая нация, и это понимание и трактовку темы Вильгельм заимствует от китайского буржуазного ученого Ху-ши, без всякого анализа эпохи и даже без личного знакомства с оригинальным литературным материалом. Точка зрения Вильгельма чрезвычайно ясна, когда он говорит, что «объективному изучению подлежит лишь старое». Но даже и в том материале древней литературы, которую Вильгельм знает непосредственно и знает хорошо, мы наблюдаем деление литературы по династиям и прямую связь литературной формы со сменой династий.

Примером психологического анализа в книге Вильгельма является часть, посвященная китайскому поэту Ли-бо, о котором Вильгельм дает биографические сведения чисто формального характера с полным отсутствием социального разбора творчества и превращает главу, посвященную Ли-бо, в простую хрестоматию.

Прекрасным примером того, как Вильгельм анализирует материал является хотя бы та точка зрения на Ли-бо, которая выражена у него в следующей фразе: «У него (т. е. у Ли-бо) была свобода творчества, и как раз в этой свободе лежит его величие и его общечеловечность» (стр. 145). Когда мы обращаемся к другому представителю той же школы, к Джайлсу, то мы находим у него соединение простого описания с хрестоматийным переводом. Он говорит все о личности писателей и ничего об эпохе или даже о формальном генезисе.

Переходя к третьему типу синологических работ по истории китайской литературы, мы можем характеризовать авторов этих работ как группу

¹ Всю свою книгу «Chinesische Literatur», являющуюся посмертным изданием 1930 г., Вильгельм произвольно делит на шесть периодов, причем 158 стр. отводит пяти периодам, кончающимся X веком, и лишь 36 стр. — последнему, шестому периоду, который охватывает исторический этап X—XX вв

формалистического метода. Эта группа говорит о проблемах литературной традиции, о жизнеспособности и изношенности произведений (вместо закона социальной обусловленности), и о старших и младших литературных группах (вместо более или менее активных классовых групп).

Таким образом в работах синологов этой школы мы видим яркое выражение имманентной борьбы литературных традиций. Классическим представителем этого типа ученых является George Margouliès с его книгой «Évolution de la prose artistique chinoise».

И у него, как и у прочих, мы наблюдаем тягу к древнекитайской литературе и очень легковесное отношение к литературе новейшего периода.¹ Все его работы² являются насквозь формалистичными. Он говорит почти исключительно об эволюции жанров, понимаемой имманентно и, главным образом, поэтических произведений — «фу», только о феодальных *belle-lettres*, только о схоластической литературе типа «Гувень», и ни словом не касается таких огромных областей китайской художественной литературы, как роман или новелла. Базируясь в своих работах на китайском ученом Се-Уляне, который тоже является ярким формалистом, Маргулиес, повидимому, даже не знает о японских формалистах, хотя бы о таком, как профессор Сюя. История китайской литературы Маргулиеса есть история выхолощенных форм. Характерен хотя бы тот факт, что, по его мнению, реформа языка является делом рук одного Хуши, и что живой язык произвел революцию только в поэзии, а не в прозе, т. е. он совершенно игнорирует всю современную литературу и считает за таковую только одну схоластику.

Точка зрения этого ученого чрезвычайно ярко выражена в заключительных словах его книги: «Сугубая культурная традиция... — факт того, что в области литературы происходит не революция, а эволюция, постепенно развивающая возможности языка. Все это дает возможность верить, что развитие искусства продолжится в классическом виде, развивая данные, освещенные гениями в течение всей истории Китая. И так же, как будет существовать китайский язык, будет существовать и художественная литература, творимая на этом языке и в формах, которые она выработала в соответствии с духом языка...».

Основой для всех этих синологических работ, всех трех групп, на которые мы их подразделили, по существу является точка зрения на литературу, которая проповедывалась феодальным господствующим классом

¹ Пропорция книги столь же характерна, как и у предыдущих ученых. Из 316 стр. 209 стр. отведены на период до VIII в. и 108 стр. на все остальные эпохи до XX в.

² Например, большая работа «Le Kou-weu chinois».

Китай. Этот феодальный господствующий класс рассматривал литературу, как классовое орудие в своих руках. Отсюда признание им истории, археологии, энциклопедий в качестве литературных памятников и полное игнорирование народной литературы, как литературы, которая является литературой «подлых» сословий.

Европейские синологи, поскольку они базировались на этом феодальном критическом материале самих китайцев, в своих работах исходили из той же феодальной оценки материала. Конечно, с такой методологией и взглядом на материал нельзя подойти к вопросу о влиянии на китайскую литературу эпохи империализма. Нельзя изучить художественное произведение, оставаясь в его пределах, и взамен таких методов и такого понимания литературы — мы должны выдвинуть марксистскую точку зрения как дающую правильное разрешение вопросов. Для нас литература есть одна из форм классового сознания, и основной литературоведческой категорией для нас является не эпоха, а класс.

В процессе изучения литературы мы изучаем конкретно литературный материал, как одну из действующих сил общественной жизни, а литературное влияние является важным и характерным спутником классового развития. Мы знаем, что если тот же самый класс начинает приходить в движение в другой стране, — он усваивает идеи и формы, созданные его более передовыми братьями, и влияние искусства одной страны на искусство другой есть результат сходства социальной структуры этих стран.

Вместе с тем мы должны отметить огромное значение социально-экономического базиса, так как без близости этих базисов класс одной страны не может влиять на класс другой.

Марксистский метод, в отличие от других, в проблеме литературных влияний стоит на детерминистической точке зрения, т. е. он говорит, что литературные влияния не являются следствием взаимных симпатий писателей, а только естественным результатом борьбы классов в литературе. Марксистский метод производит дифференциацию отдельных типов влияния, отбирая все значительное и закономерное и производит расчленение видов влияния, как средств и приемов борьбы классовых групп в литературе.

Установив таким образом принципиальную, исходную точку зрения, мы переходим к непосредственному освещению материалов, т. е. к китайской литературе.

Китайская литература эпохи империализма, т. е. приблизительно с 70-х гг., делится на два периода. Первый период относится к литературе до 1917 г., т. е. до момента так называемой «литературной революции»,

причем этот период в свою очередь подразделяется на два периода: а) до последнего десятилетия XIX в., т. е. до японско-китайской войны и б) до начала XX в. Второй период начинается с 1917—1919 гг. и кончается 1926 г., на котором кончаются также материалы, которые мы имеем в нашем распоряжении.¹

Китайская литература первого периода, и в особенности его первой половины, является типичной феодальной литературой эпохи упадка господствующего класса, когда содержание (общественное сознание) отстает от формы. Именно в этот период мы наблюдаем в китайской литературе эпигонство, стилизационную схоластику, уход в древность, так называемое «вэньчжан»²ство.

Китайская же литература второй половины первого периода характерна растущим противоречием формы и содержания в связи с зарождением нового класса — буржуазии. После войны 1894-95 гг. мирный договор положил начало образованию крупной иностранной промышленности в Китае, втягиванию и развитию национального китайского капитала, созданию промышленной буржуазии при сосуществовании с феодальными группировками и компрадорскими слоями.

Буржуазию начинает не удовлетворять феодальная литература, ей враждебная по существу, и это недовольство мы видим на конкретных памятниках литературы данного периода. Что же касается китайской литературы второго периода, то она является следствием разрешения противоречий в сторону перехода количества в качество, через так называемую «реформу языка», приводящую к созданию литературы новых форм и содержания, которая отражает общественное сознание буржуазии при одновременном отталкивании от феодальной литературы и при сильном участии иностранного влияния. Таковы деления по периодам, необходимые нам для анализа, которые диктуются конкретными фактами.

Переходя к рассмотрению китайской литературы периода конца XIX в. до так называемой «литературной революции», с точки зрения иностранного влияния, следует оговорить, что мы не берем китайскую литературу начала империалистического периода, так как при своем пережиточно-феодальном характере и консервативной активности она не впитала по существу иностранное влияние. Примером этого может служить Цзэн Го-фань и его литературная школа, которая никак не реагировала на со-

¹ Вопрос о влиянии периода 1927—1931 гг., знаменующегося для китайской литературы усиленной борьбой за левый фронт и за образование пролетарской литературы, будет освещен в особой статье, задерживающейся вследствие скудного поступления материалов.

временность, являясь эпигонством и искусственным подражанием древней феодальной литературе.

Существование двух господствующих классов, т. е. старых феодальных группировок и нарождающейся буржуазии, которая формируется из разложившихся феодалов, вырастающих земельных собственников и кулачества, отражается в литературе этого периода в виде двух литературных направлений, тяготеющих к этим двум господствующим классам, а именно: направление консервативное, так называемая «неоклассика» и направление либерально-буржуазное. Консервативное направление китайской литературы этого периода, возглавляемое Цзэн Го-фанем, является выразителем феодально-классической схоластики и, наряду с реакционной конфуцианской идеологией, характерно произведениями, написанными в стиле подражания древне-китайской феодальной литературе. Среди этой консервативной группировки тем не менее заметен некоторый отход от стилистического канона, выработанного в феодальной литературе, и мы наблюдаем впоследствии переход некоторых из деятелей этого консервативного направления, например Лян Ци-чао, Кан Ю-вэя в буржуазный лагерь в период 1905-07 гг.

Что же касается либерально-буржуазных направлений китайской литературы этого периода, то для них характерен сатирический жанр, жанр публицистики и журнализма как на классическом, так и на живом языке.¹

Можно возражать против той точки зрения, которая так категорично здесь высказана, что в литературе данного периода не наблюдается иностранное влияние, хотя а-приори такие влияния должны были быть, так как больше 100 лет происходят столкновения Запада с Китаем, идет активная интервенционная и империалистическая политика держав. На это возражение можно ответить, что влияния не наблюдаются только в художественной литературе, а не в литературе вообще, например, — в публицистике.

Знакомство Китая с Западом в переводческом отношении началось с 1867 г., с того момента, когда была основана так называемая школа переводчиков «Тун-Вэнь-Гуань» при министерстве внешних сношений, и когда началась посылка китайских студентов за границу для обучения. В конце XIX в. в Китае уже были переводы некоторых основных литературных произведений Европы на китайский язык и, конечно, мы наблюдаем влияние на китайскую литературу, но весь вопрос — на какую литературу

¹ Отметим такие произведения, как «Наше чиновничество» — Ли Бао-цзя, «Путешествие Лаоцзяня» — Лю-хэ и «За двадцать лет» — У Юе-ю.

и в какой мере. Вряд ли можно это влияние квалифицировать, как непосредственное влияние на художественную литературу Китая.

В конце XIX в. появляется ряд переводов и переводчиков, введших Китай в сферу ознакомления с западной культурой. Это ознакомление идет по линии овладения техникой, законоданием, политикой, наукой империалистических стран (с религией их давно уже познакомили миссионеры). Появляется целый ряд переводчиков, и такая знаменитость как Янь-фу переводит, например, Спенсера. Наконец появляется также первый переводчик и художественной литературы — Линь-Шу.

Его перу, вернее кисти, принадлежит более 200 названий литературных переводов. Наиболее известны переводы Диккенса, Дюма-сына и Шекспира. Но Линь-Шу переводил, не зная иностранных языков. За него работали переводчики, а он лишь обрабатывал эти произведения в стиле китайских произведений на схоластическом языке феодальных классиков. Происходило полное китаизирование иностранного материала, и литературные западные произведения превращались по существу в типичные китайские литературные произведения. Самый выбор переводимого материала характеризует классовые интересы Линь-Шу. Ведь всем известно, что Дюма-сын сам заявлял о необходимости поддерживать своими сочинениями старое общество, которое по его словам рушилось со всех сторон. Линь-Шу является типичным представителем феодальной группы, что вполне ясно выявилося из той позиции, которую он занял в период так называемой «литературной революции», затеянной буржуазией. Но и его переводы, и переводы другого, не менее известного писателя Чжоу Цзо-жэня, тоже на классическом китайском языке,¹ не способствовали влиянию на писателей тогдашней буржуазной художественной литературы.

Посмотрим, какие же влияния были в этот период и в чем они выражались. Эти иностранные влияния главным образом мы видим в политической и публицистической литературе. В политической литературе мы находим публициста Чжан Ши-чао, развившего свою деятельность между 1905-15 гг. Он является выходцем из феодальной среды, но примкнул к либеральному течению. На нем мы можем проследить влияние Запада на стиль, которое выразилось в том, что этот писатель вливал западное содержание в китайские старые, пережиточные формы языка. Некоторые критики видят европейское влияние на этого писателя в отказе от соблюдения древне-китайской параллельно-антитетической формы Пянь-вэнь

¹ Им был выпущен сборник переводов Юй-вай сяо-шо «Заграничные повести».

в построении его произведений. С другой стороны, в литературе публицистической у таких писателей как Лян Ци-чао и Цянь Сы-тун, мы наблюдаем большое число японских заимствований. Что же касается чисто художественной литературы, то в ней иностранное влияние чрезвычайно ничтожно. У такого буржуазно-либерального писателя и журналиста, как У Юе-яо, влияние Запада сказывается исключительно в стройности сюжета и в ощущении личности автора в некоторых произведениях; так например свое произведение «Судьба девяти»¹ он строит по образцу детективного европейского романа, в котором ощущается моносюжетность, логика построения и стройность изложения. Таким образом влияние не идет дальше чисто формальной стороны, и можно ли вообще считать влиянием усвоение скорее порядка ремениценций двумя-тремя авторами, притом происходящее от воздействия среды на данных индивидов? Есть ли это закономерное явление, говорящее о влиянии, и притом влиянии на художественную литературу? Вот почему в отношении китайской художественной литературы первого периода мы говорим, что непосредственного иностранного влияния мы не наблюдаем.

В империалистическую войну нейтралитет Китая, не без участия Японии, укрепил экономическую базу промышленной буржуазии, которая использовала для себя торговлю с Германией и стремление Антанты использовать китайские ресурсы и дешевый труд. Однако в конце 1917 г., под политическим давлением Антанты, наблюдается усиление милитаризма в Китае, что и приводит в конце концов к вовлечению Китая в войну, к известным потерям Китая и к усилению империалистического нажима. Однако буржуазия за этот срок уже стала на ноги, хотя бы и в полукOLONIALном состоянии, и совершенно отчетливо противопоставила себя феодальным группировкам в своем стремлении их изжить как класс.

В области литературы назревшие противоречия формы и содержания, необходимость завладеть литературой как орудием классовой борьбы, привели к движению за реформу языка и за «литературную революцию». Первые шаги буржуазии в этом направлении свелись в 1916 г. к подготовке общественного мнения. В этот период циркулировали частные мнения о необходимости введения «байхуа» — языка живых форм как орудия просвещения масс и как орудия творчества новой буржуазной литературы. В начале 1917 г. началась теоретическая кампания, застрельщиком которой явился пекинский университет в лице либерально-буржуазного профес-

¹ (九命奇冤).

сора Ху-ши, а также представителя левой радикальной интеллигенции проф. Чэнь-Ду-сю.

В начале 1918 г. появляется журнал «Новая молодежь» — «Синь цин-нянь», написанный на этом реформированном языке. Этот язык объявляется общегосударственным — «гоюй», и с точки зрения буржуазии ведет к национальному объединению, хотя идеи национального объединения, в сущности, являлись ширмой классового стремления к гегемонии буржуазии. Вслед за первой попыткой появляется ряд новых журналов, как например «Новый прилив» — «Синь -чао», «Еженедельная критика» — «Сяньдай пин лунь», представляющие собой публицистику на новом языке, и литература художественная этих форм пока не касается. В ответ на попытки буржуазии сломить феодальный класс, реакционная тенденция феодалов выражается в той ожесточенной борьбе, которую поднимают против попыток буржуазии эти феодальные группы в лице так называемой Аньфуской политической клики. Письмо Линь-Шу к Цай Юань-Пэйю, одному из деятелей «литературной революции», является прекрасной иллюстрацией отношения феодальных групп к буржуазии. Линь-Шу писал так: «Ведь, если отбросить древние книги и ввести в письмо диалектизмы, если ввести стиль тех, которые возят по улице тележки, продавая сою, — тогда, пожалуй, все конторщики Пекина могут быть профессорами». Ровно через месяц поражение Китая в Версале и взрыв анти-империалистического движения были использованы буржуазией под национальным лозунгом и явились моментом перехода количества в новое качество. В одном 1919 г. появляется до 400 изданий на реформированном языке, и именно к этому периоду относится начало литературных приложений, которые сыграли большую роль в росте художественной китайской литературы.

В январе месяце 1920 г. постановление министерства народного просвещения об обязательном обучении в школах на реформированном языке закрепило победу буржуазии и завершило так называемую «литературную революцию», которая была направлена против пережиточной феодальной литературы. Теория литературной революции на базе реформы языка, т. е. на базе введения живых форм речи, изложенная в манифестах Ху-Ши, и Чэнь-Ду-сю, показывает нам два момента, а именно: с одной стороны, — «отталкивание» от феодальной литературы, борьбу с ней, и с другой стороны, — заимствование иностранного буржуазного опыта с дальнейшим влиянием иностранной литературы при общей анти-империалистической тенденции китайской буржуазной литературы этого периода вплоть до измены буржуазии в 1927 г.

В отношении факта «отталкивания» чрезвычайно характерны слова Ху-Ши, который говорит о необходимости «прекратить подражание древности», который высказывается против старого стиля и по существу дает четкую формулу классовой борьбы в литературе.

Не менее определен и Чэнь-Ду-Сю, когда он говорит: «Отбросим схоластическую, негибкую, безмерно-разросшуюся литературу и создадим литературу общепонятную». «Отбросим разложившуюся и пережившую себя литературу древних форм». И Чэнь-Ду-Сю совершенно категоричен, когда он провозглашает: «Из сорока-двухдюймовых орудий — по конфуцианской культуре».

Взамен буржуазия предлагает создать, по их собственному выражению, «реалистическую свежую литературу» с «конкретными темами», «литературу национальную». Таковы требования верхушки буржуазного класса в отношении литературы, как орудия. Однако полукOLONиальное положение страны с сосуществованием разложившихся феодальных слоев и буржуазии, порождает несколько иную литературу, чем та, на которую рассчитывала буржуазия. И в своих последующих работах Ху-Ши принужден бороться с упадочничеством романтики, пришедшей, вместо реализма, на смену рационалистической схоластике феодальной литературы.

«Нынешняя молодежь — принужден признаться Ху-Ши — страдает пессимизмом. Выражаясь образно — это «холодный пепел», «безжизненность», «мертвая зола».¹ Когда они пишут стихи или прозу, то, наблюдая садящееся солнце, думают о старости, под осенним ветром думают об одиночестве, с приходом весны страшатся ее ухода, а когда распускаются цветы — боятся, что они опадут. Все это воспитывает дух упадка. Они не думают о том, чтобы работать и бороться для родины, они умеют только испускать жалобные стоны. В больном государстве разве слезы и плач могут помочь...»

В этих словах — признание неблагополучия в новом классе — буржуазии Китая. На примерах влияний, в подтверждение признания лидера буржуазного «обновления», мы увидим, каким образом эти иностранные влияния и какие именно соответствовали социальному заказу и общественному сознанию господствующего класса. Деятели литературной революции не только находились под непосредственным влиянием, но и апеллировали к буржуазному опыту своих иностранных собратьев. Они доказывали свои положения на примере Европы и сравнивали латынь и европейские языки

¹ Названия произведений буржуазных китайских декадентов.

с классическим китайским языком и китайским разговорным. Они говорили, что если Данте и Боккаччио создавали итальянский язык, если Чосер и Виклиф создавали английский язык, то и на их долю, в отношении Китая, выпадает такая же почетная задача.

Когда эти буржуазные деятели вводили пекинский диалект как общегосударственный язык «гоюй», то они апеллировали к примеру Данте, который вводил тосканский диалект. Вместе с тем они практиковали перевод классических западных писателей на этот новый реформированный язык, причем создавали своеобразное классовое орудие, так называемое цзе-шао, т. е. рекомендацию той литературы, которая с точки зрения буржуазии является необходимой новому Китаю. Эта «литературная рекомендация» по существу являлась классовым контролем. В результате на книжном рынке Китая появилось огромное количество переводов, которые являлись проводниками как влияния идей, так и формы, причем язык переводов создает свой стиль, влияющий и на оригинальные китайские произведения. Импорт был обусловлен социальным заказом китайских господствующих классов, но этот контроль китайской буржуазии все же преодолевается интересами буржуазии иностранной, чему не мало способствуют иностранные издательства, существующие в Китае.¹ Мы видим самых разнообразных писателей, существующих в китайских переводах, но не все они влияют, а если и влияют, то лишь с учетом расстояния между влияющим классом и классом подвергающимся этому влиянию, и в конечном счете, в модифицированном виде, отвечающим классовому сознанию китайской буржуазии. В качестве рекомендованных и переведенных на китайский язык иностранных авторов, мы отметим следующих авторов и следующие произведения: Уайльд «Саломея», «De profundis»; Арцыбашев¹ «Рабочий Шевырев»; Шоу «Профессия г-жи Уоррен»; Андреев «Жизнь человека», «Анатэма»; Метерлинк «Синяя птица», «Слепые», «Смерть Тентажиля»; Ибсен «Призраки», «Кукольный дом»; Руссо «Эмиль»; Гете «Страдания молодого Вертера»; Тургенев «Отцы и дети», «Стихотворения в прозе»; Толстой «Воскресение», «Живой труп», «Что такое искусство» и «Исповедь»; Чехов «Рассказы», «Вишневый сад», «Чайка», «Дядя Ваня»; Мопассан «Рассказы»; Тагор «Читра», «Саньяси».

Рассматривая этот список, мы видим специфический подбор произведений декадентов, символистов, ранних романтиков, наиболее повлиявших, как это мы увидим, своими идеями беспочвенного протеста, раздвоенности и

¹ Такие, как Kelly and Walsh в Шанхае, равно как и издательства при иностранных колледжах.

усталости на новую китайскую литературу. Переводы всех этих произведений сделаны с японского и английского. В силу исторически сложившихся условий империализм Японии и Англии наиболее активен своим вмешательством в Китай, и благодаря этому знакомство с Западом идет главным образом через английскую и японскую выучку. Сфера влияния Англии и Японии особенно сильна в Китае, а давление, оказываемое ими на политику, активнее давления, оказываемого другими державами. Кроме того технически японский язык с его иероглифами ближе к усвоению Китаем, а кроме того японская буржуазия имеет огромное количество переводов, что для китайской буржуазии служит мостом к иностранной литературе через Японию и является линией наименьшего сопротивления.

Переходя непосредственно к материалам и демонстрируя влияния, следует оговорить, что именами и произведениями Запада, которые приводятся в данной работе, влияния конечно не ограничиваются.

Анализируя отдельные произведения новой китайской литературы, естественно сделать обобщающий вывод: какие группы писателей и каких общественных формаций Запада повлияли на какие китайские группы писателей и каких общественных формаций.

Исходя из всей совокупности материала по вопросу о влиянии, мы видим, что эти влияния идут по линии импрессионизма в иностранной литературе. Импрессионизм является синтетическим стилем эпохи начала XIX и конца XX вв., т. е. эпохи империализма, и мы к нему относим далеко неоднородных писателей, таких как Верлэн, Уайльд, Кнут Гамсун, которые отражают развитие промышленного капитала и, в связи с этим, видоизменение социального строя. Если импрессионизм, как литературное течение, есть первая ступень диалектического развития стиля, который затем снимается экспрессионизмом и, в конечном счете, синтезируется так называемым магическим реализмом, то в Китае влияния пока не идут далее импрессионизма, который характерен своей пассивностью, созерцательностью и впечатлительностью. Если импрессионизм представляет собой упадочническую аристократию и буржуазию в роде Уайльда, представляющего собой смешение рантье-буржуазии с упадочнической аристократией, или Гамсуна, представляющего мелкое мещанство, страдающее от капитализма, то для Китая импрессионизм — прежде всего мелко-буржуазная литература со всеми ее модификациями, отражающими различные классовые группировки. Промышленный капитализм, побеждая мелкое производство, рутинную технику и отсталые общественные отношения, в своем развитии отзывается на мелкой буржуазии, как обостренный процесс ее дифферен-

циации. Единицы выделяются наверх в ряды буржуазии, тысячи идут на «дно» или в ряды пролетариата. Реакция со стороны мелкой буржуазии на наступление промышленного капитала идет или по пути безнадежности, или бунта против действительности во имя переустройства.

В Китае мелкая буржуазия и мелко-буржуазная интеллигенция, из которой состоит основная масса китайских писателей, под натиском развивающегося промышленного капитала, или идет к нему на службу, или гибнет, защищаясь или не защищаясь, или же, наконец, борется и входит в орбиту пролетарской революции. Но так или иначе, в литературе отражается именно эпоха империализма. Общественное сознание этой китайской мелко-буржуазной интеллигенции, находящейся под натиском промышленного капитала, осложняется еще империализмом и полукOLONиальным состоянием страны, а также сосуществованием феодальных группировок. Борьба идет на два фронта: против промышленной буржуазии и против феодальных группировок на фоне анти-империалистического движения. В этой борьбе мелкая буржуазия заимствует оружие от своих классовых братьев Запада, причем эти заимствования в общей системе уже являются влиянием при однородности классового генезиса творчества и при сходстве психических устремлений.

Вся масса китайских писателей дробится¹ на несколько групп, находящихся под влиянием соответственных групп иностранных буржуазных писателей. Таких главнейших основных групп пять: первая — упадочники (мелко-буржуазная интеллигенция), например Юй Да-фу и Чжоу Цюань-Пин, вторая — мелко-буржуазные радикалы, например Лу-Синь, третья — воинствующие мелкие буржуа, как например Го Мо-жо, четвертая — феодальные представители (джентри и мелко-поместное дворянство), как например, Ни И-дэ, и пятая — представители крупной буржуазии, как например Бин Синь.

Перейдем к рассмотрению отдельных намеченных групп китайских писателей и соответствующих иностранных влияний, которым они подвергались и подвергаются.²

¹ Еще раз отмечаю, что речь идет о периоде до 1927 г. так как в период нового революционного подъема и борьбы за Советы в Китае классовое расслоение приняло резкие формы и часть мелко-буржуазных писателей примкнула к революции, войдя в левый блок, творя революционную пролетарскую литературу.

² Данная статья рассматривает вопрос об иностранных влияниях на современную художественную литературу Китая только до 1927 г. в аспекте формирования буржуазной литературы. Революционная роль ее левого крыла не подлежит сомнению, особенно в деле борьбы с империализмом, однако это является другой темой, которая разрабатывается автором в связи

Группа упадочников характеризуется внутренним бунтом, при пассивном подчинении жизни. Она характерна неприятием ни мировоззрения пролетариата, ни либеральных доктрин буржуазии. При своей субъективной антибуржуазности, она в то же время является могильщиком революционных порывов интеллигенции, и основным лозунгом представителей этой группы является фраза: «Не надо бороться — надо либо умереть, либо примириться.»

В произведениях таких писателей рисуется образ лишнего человека, одинокого искателя, безвольного, незащитного и брэнного. Для их мирозерпання характерны ипохондрия и разочарованность. Настроение этих писателей исходит из того противоречия, которое происходит на их глазах — с одной стороны, роскошь крупного буржуа и власть биржи, а рядом нищета пролетариата, мелко-буржуазного ремесленника и интеллигенции на фоне милитаризма, спекуляции и империализма. Эти настроения мелко-буржуазных классов, теснимых капиталистическим развитием, характерные на Западе для импрессионизма Гауптмана, Андреева и Верлена с их символистическими восприятиями, нашли своих подражателей в лице китайских писателей, декадентов: Юй Да-фу и Чжоу Цюань-Пина.

Не находя в старо-китайской литературе нужного материала, они обращались к Западу, который влиял не только путем открытого заимствования и подражания, но, главным образом, путем переработанного восприятия. Возьмем, например, такое произведение Юй Да-фу, как «Синий дым».¹ Он пишет:

«Я сижу в безмолвной летней ночи, и сколько печальных дум кружится в моей голове. Смотри на электрический свет, зеленой водой струящийся из под голубого шелкового абажура, слушая гудки автомобилей, устало доносящиеся из-за окна с Bubbling well, я чувствую себя вернувшимся к годам юношеской меланхолии, и слезы, дешевле женских, опять блестят на моих щеках. Подняв голову, вижу торопящий к старости календарь... Время проходит с каждым днем, но моя работа, мое будущее? Увы! Я думаю, что кое-что взято мною, но, разжимая крепко сжатый кулак — вижу в руке только синий дым... Выросши без единого ремесла, я усыплял себя произведениями искусства писателей древних и современных,

с вопросом борьбы за «левый блок», попутничества и союзничества в деле развития пролетарской литературы в Китае. Вопрос о влияниях на пролетарскую литературу Китая, в частности литературы СССР, является второй темой, которую ставит автор и которую попытается осуществить в дальнейшем.

¹ 青煙.

китайских и иностранных, а теперь, очнувшись, увидел, что творчество всех этих великих — лишь дым. Писаки, из тех, что кормятся под крылышком у богачей, говорят: „Все ваши страдания — искусственны, вы кричите без боли.... Ваше отчаяние происходит оттого, что вы никому не нужны“. А мой брат говорил мне: „Ты несчастен потому, что ты родился в это время китайской смуты. Было бы лучше, если бы ты родился лет на десять раньше или позже“... Что для меня значит задавленная родина! А разве поэт пограничной страны — Сенкевич — не прогремел на весь мир? А разве живущие на концессиях мои сородичи не чувствуют себя беспечными? Что значит пограничная родина! Если иностранцы придут управлять нами, разве не будет еще лучше? А лучшие стихи Лу Цзян-наня разве не явились следствием гибели родины? ... Звуки автомобильных гудков за окном растаяли — и я слышу только звук моей кисти, пишущей на бумаге. Подхожу к окну — и вижу только изгиб черного летнего неба, в котором мерцает несколько тусклых звезд. Отбросив кисть, делаю несколько шагов по своей каморке, похожей на дровяной ящик, — и холодное одиночество охватывает все мое существо. Не знаю откуда пришла она — эта тоска».

Разве здесь не выражена вся сущность мелко-буржуазного декадентства; и в произведениях китайца — не голос ли его западных классовых братьев? Разве это не иппохондрия Бодлера или не Верлен, с его импрессионистическими штрихами, с его «ярко освещенным кругом лампы» и «мгновенно-застывшими пятнами цветов», его «сплином», «тоской»...

Все неизбежно будет, как могила,
Вдоль щек смиренные потоки слез.
... О, подумай, что ты сделал
С юными годами...

Такие верленовские мотивы почти списываются китайским декадентом в лице Юй Да-фу, у которого неизменная «дымка пыли», заволакивающая его натуроописания, придает тот же мягкий колорит пейзажа, как и у Верлена.

Впрочем о Верлене не раз говорит и сам Юй Да-фу, хорошо его знающий, как знаком он и с другими западными декадентами, стихи которых он часто ставит эпиграфами или вставляет в текст своих произведений.

Его излюбленными образами являются такие, как: «Я одинок как иссохший телеграфный столб, холодеющий в студеном ветре и пыли», или: «опустелое сердце как остывший пепел». Наконец, сами заглавия произведений «Лишний», «Омут», «Серая смерть», «Тени» достаточно показательны. Его герои переживают эмоции слабых людей из произведений Леопарди

или Эрнста Даусона, и недаром у него повсюду евангельские изречения в роде «блаженны нищие духом», образ Франциска Ассизского и любование слабостью *fin de siècle*. В своем произведении «Пепельная смерть», написанном в тех же тонах, он говорит, что обязан влиянию Стивенсона и Даусона, а в произведении «Глухая ночь», он пишет: «Чувство смирения — источник религии. Уайльд и Верлэн, вас, вызывавших из темницы — „будь смиренен“ — я понимаю».

Вместе с тем для него характерна декларация дёклассированных групп общества, как у Арцыбашева в рассказе «У последней черты», где говорится: «Ни революция, ни капитализм, ни социализм — не дают счастья человеку. Зачем социальный строй, если смерть за плечами».

У Юй Да-фу, в его произведении «Колокольчик под ветром»¹ говорится: «Политические взгляды, лозунги партии, все это обман народа», и, как у Арцыбашева, основными являются эротические мотивы.

Пример другого писателя той же группы упадочников, Чжоу Цюань-Пина, подкрепляет пример импрессионизма типа Верлэна, с его «шумами дождя», «дождем окутанного города» и т. д. Например такое место у Чжоу Цюань-Пина: «...И каждый раз, как дождь рождает падением глухие шумы, в сердце каждый раз рождается — не тоска, не отчаяние, а пустота, только пустота...» явно перекликается с верлэновским «слезы в сердце моем, плачет дождь за окном», «этих слез не пойму, не влечет ни к чему...». У того же Чжоу Цюань-Пина в общих с западными упадочниками мотивах, особенно характерен не китайский образ дьявола, а скорее мотивы андreeвских символистических настроений, равно как и анти-урбанистическая концепция, в которой слышен протест против промышленного капитала со стороны давимых капиталистической машиной мелко-буржуазных интеллигентов, и весьма показательно хотя бы такое место из его произведения «Голос города»²: «...Сверкающий блеск луны падает через щели стены на мое одеяло и нанизывает нитями думы... В это время голоса соседей умолкают, и тогда, в этой полной тишине, так ясно слышатся смешанные звуки города. Город... беспощадный, могучий дьявол! Несчастные люди... слезы их глаз, пот их тела, кровь их сердца — по каплям сочатся в пасть дьявола.

Город-дьявол хохочет и громко зовет: «Люди, презренные псы! Скорее трудитесь! Ваши отцы в наследство дали вам труд, и деды завещали вашим отцам — машинам моим отдать целиком и тело и душу».

¹ 風鈴.

² 市聲.

Упадочнические настроения с подражанием андреевскому стилю мы видим и у писателя Сунь Лян-Гуна, в его символистическом произведении «Бог сам воздал ему», где идет диалог бога с дьяволом, равно как замечаем и создание образов, характерных для Арцыбашева, в повести «Возвращение», с непосредственными цитатами из «Рабочего Шевырева».

Здесь налицо все характерные черты нигилизма, озлобленности, концепции «человек — гадок» нищезанятия — всего того, что характерно для эпохи реакции, общественного кризиса и разгрома революционных сил.

Когда мы переходим ко второй группе китайских писателей — мелко-буржуазным радикалам, которые отражают страдания мелкой буржуазии и мелко-буржуазной интеллигенции, то мы видим, что лидер реалистической школы Лу-Синь, сам мелкий джентри, вырос в своем художественном творчестве из Диккенса. Это влияние идет не в форме подражания, а в том глубоком единстве, которое роднит писателей одного и того же класса и одного и того же стиля.

Правда в своей основной повести «Правдивая история А — Q» Лу-Синь пишет: «Хотя и говорят, что в исторических анналах Англии нет биографий игроков, но знаменитый писатель Диккенс все же написал такую историю» (Лу-Синь понимает, повидимому, «Лавку-древностей»). «Однако то, что разрешается такому известному писателю, как Диккенс, никак не позволительно таким, как я».

Этот литературный прием не затушевывает влияния, под которым написана повесть «Правдивая история». У Лу-Синя, как и у Диккенса, в основе заложен смех, юмор смягчающий остроту классовых противоречий. Если смех может разоблачать, то смех может иногда утешать и примирять. У Лу-Синя — мелко-буржуазные типы бедняков созданы с любовью, но участливый смех мешает видеть тяжелые условия, в которых они существуют, мешает замечать их ограниченность. Как и Диккенс в своих «Двух городах», Лу-Синь отшатнулся от революции, которая для него явилась безумием. Как идеолог мелко-буржуазного радикализма Лу-Синь не улавливает ни пафоса промышленного капитала, ни психологии пролетариата. Он сам пишет: «Обрисовать глубоко-молчаливую душу китайского народа — дело трудное. Несмотря на все мои усилия проникнуть в нее, я постоянно ощущаю какую-то преграду. Я могу писать о китайской жизни, основываясь лишь на собственных наблюдениях — сиротливо и одиноко».

Индивидуализм мелкого буржуа наблюдается в описании толпы у Диккенса, в его сцене казни из «Барнеби Редж». Толпа для него единое целое, объединенное низменным инстинктом травли. И совершенно аналогична

толпа в изображении Лу-Синя, хотя бы в его рассказах «На показ», «Лекарство» или в «Правдивой истории», где глаза толпы отождествляются с глазами волка, соединенные в одно целое и пожирающие тело и душу. Как и у Диккенса все внимание Лу-Синя направлено на личные отношения, — мастерски разработаны детали, те же портретные мотивы с символикой характеров, определяющей сущность героя. Технические термины сословных типов и индивидуальные речевые особенности впервые были введены Лу-Синем в китайской литературе. И наконец у него в произведениях, как и у Диккенса, проходит гамма настроений — от растроганности и благодушного юмора — к едкому сарказму и обличительному пафосу, от реалистического описания — к гротеску и карикатуре. В своем творчестве Лу-Синь, несомненно, следовал Диккенсу и эту школу Диккенса передал своим ученикам, как например Сюй Цинь-вэню и другим, которые продолжили юмор Лу-Синя, т. е. по существу, Диккенса.

Переходя к третьей группировке и характеризуя ее как группу воинствующих мелких буржуа, мы должны сказать, что в эпоху наступающего крупного капитала и разорения мелкого буржуа, часть мелкого буржуазного общества не хочет принять своего поражения.

На китайском горизонте, подобно Ибсену для Норвегии, выступает фигура воинствующего буржуа-теоретика, сторонника национального движения и пионера литературного языка — Го Мо-жо, лидера романтической школы. Бунт этой группы, по существу, является бесплодным романтическим бунтом против буржуазной морали, но не против буржуазного строя, как такового.¹ Этот бунт идет под флагом немецкого идеализма и эстетизма, приводящего Го Мо-жо к Уайльду, под флагом «искусство ради искусства». Даже заглавие одной из ранних книг Го Мо-жо «Звездные бездны» является всего лишь цитатой из Канта: — «Звездные бездны надо мной, и моральный закон во мне».

По форме Го Мо-жо является ярким импрессионистом, находящимся под сильнейшим иностранным влиянием. Будучи переводчиком гетевского «Вертера», он воспринял иррационализм, непознаваемость Гете в очертах «руссоизма», как вызов рационализму, т. е. в некотором революционном значении, и в своей пьесе «Наследники царства Гучжу» Го Мо-жо вкладывает в монологи героев призывы Руссо «назад, к природе», как анархический протест буржуа, мечтающего о «золотом веке». Для класса, который потерял активно социальные функции характерен девиз эгоцен-

¹ Ср. Гете, «Вертер»: «Что меня особенно раздражает, — это роковые мещанские отношения. Я, конечно, не хуже другого понимаю, как необходимо различие сословий...».

тризма и отказ от общества. Конфликт личности и общества превращается в конфликт личного сознания с непреодолимыми силами, а отсюда проистекает стремление к мистике и символизму. В своей борьбе, идеализируя старину и создавая национальные исторические драмы, Го Мо-жо в своем индивидуальном эстетизме заимствует весьма многое от Уайльда, а в психоанализе использует целые страницы из Достоевского. Например, его драма «Ван Чжао-Цзюнь», целиком построенная на известном историческом сюжете, явно находится под влиянием уайльдовской «Саломеи», не говоря уже о многих, чисто формальных, подражательных приемах. В последней сцене из драмы Го Мо-жо император Юань-Ди, перед принесенной головой, отрубленной у художника, который из мести скрыл подлинный портрет красавицы, благодаря чему император упустил ее из гарема, уступив ее князю гуннов, говорит так: «Янь Шоу, мой старый друг. Хотя ты и умер, но она ударила тебя по лицу, — ты счастливее меня. Скажи, куда она ударила тебя, по правой или по левой щеке. Ее последнее прикосновение осталось на твоём лице. Позволь мне взять половину ее аромата» и т. д.

Характерны для произведений Го Мо-жо этого периода такие слова «Господи, да придет царствие твое!» — или рассуждения из «Братьев Карамазовых» на тему о силе христианской любви. Все это типичный крик теснимого мелкого буржуа, подобный выкрику из «Командарма 2» Сельвинского: «Господи, скорей бы социализм!»

Еще больше, чем на содержании, иностранные влияния видны на форме его произведений, и в деле выработки нового литературного языка Го-Можо сыграл выдающуюся роль. Сражаясь за свой класс на платформе идеализма и эстетизма против реалистических тенденций тех групп мелких буржуа, которые приняли господство промышленного капитала, Го-Можо пытался было примирить противоречия, которые он видел, в своем произведении «Маркс в храме Конфуция», но, убедившись в обреченности своего дела, в 1926 г. он признал себя побежденным и отошел от своих позиций, но не в сторону крупной буржуазии, а в сторону пролетариата, меняя идеализм на материализм и перо художника на перо публициста и общественника.¹

¹ Не умаляя революционного значения деятельности Го Мо-жо в качестве лидера Шанхайской литературной группы Чуанцзао — «Творчество» за период до 1927 г., мне все же кажется правильным утверждать на основании анализа его произведений, что творчество Го Мо-жо следует рассматривать в плоскости роста этого писателя, в процессе его перевооружения, а не объявлять Го Мо-жо, как это делают некоторые, пролетарским писателем едва ли не с самого начала творческой деятельности этого талантливого писателя, прошедшего сложный путь развития, который привел его в конечном итоге в лагерь пролетариата.

Он писал: «Мои идеи, моя жизнь, мое творчество в течение этих двух лет окончательно изменились. Когда-то я был ценившим идеализм и поклонявшимся свободе, но за последнее время, соприкоснувшись со страданиями людей, я почувствовал, что в век, когда большинство потеряло свободу и индивидуальность, быть в числе немногих проповедующих это, в конце-концов, — самонадеянно».

Так китайская литература потеряла мелко-буржуазного романтика и идеалиста, а пролетариат приобрел политического работника в рядах компартии и автора «Истории китайской коммунистической партии», равно как и многих беллетристических произведений революционного содержания.

Что касается представителей четвертой группы — представителей феодальных слоев, то они отражают в своих произведениях идеологию мелко-поместной джентри, разложившихся феодалов в эпоху упадка, когда капитализм вытесняет систему помещичьих хозяйств. Для них характерно осуждение городской культуры, уход к природе, в «неиспорченный» быт провинции.

На этой группе мы замечаем слабое влияние Вордсворта и «Озерной школы», равно как заметно и влияние Руссо по линии возврата к природе, в идее познания природы не умом, а чувствами, и именно здесь мы находим мотивы тургеневского умирания «дворянских гнезд», но все это только слегка намечено. Так, например, у писателя Ни И-дэ, принадлежащего к этой группе писателей, пожалуй, можно найти только реминисценции, а не влияния. Во всяком случае для этой группы писателей пока не удалось обнаружить четких данных о непосредственном влиянии.

Наконец последняя, пятая группа писателей, примкнувшая к крупной буржуазии, проводит идею буржуа и мелкого-буржуа, к ним пристроившегося, которые победили или побеждают феодальное общество и для которых оружием борьбы служит романтизм, переходящий постепенно к реализму. Для них основной является мелодраматичность, проблема социальной морали, вопросы быта, но все это в такой мере, при которой постановка моральных вопросов заглушает голос революции. До некоторой степени отражая социальное недовольство мелкого буржуа, писатели этой группы переводят социальный протест в план чистой этики. Они не затрагивают устоев буржуазного общества, несмотря на весь обличительный характер своих произведений. Для китайских писателей этой категории чрезвычайно характерно влияние, оказанное Дюма-сыном и его «Маргаритой Готье», образ которой в виде сентиментального мелодраматического образа внешне — умирающей чахоточной женщины, а внутренне — героини, умиленной

добродетелями буржуа, получил огромное влияние в литературе не только современного Китая, но и современной Японии. Писательница Бин-Синь, американизированная христианка и блестящий стилист, в своем рассказе «Завещание» воспроизводит этот знакомый образ «дамы с камелиями» в образе умирающей подруги, причем вся форма произведения, в письмах, характерна вообще для сентиментализма современного Китая.

А писатель Чжан-Цзы-Пин, романист и художник современного буржуазного быта, в своем романе «Летающая пыльца» целиком использует японский роман «День возвращения» — Каегу хі, являющийся типичным произведением буржуазной морали.

После приведенных примеров иностранного влияния на содержание произведений современной китайской литературы, переходим к последнему вопросу влияний, а именно влияний на форму. Влияние импрессионистической формы, столь характерное для эпохи империализма, в китайской литературе идет, повидимому, через Японию, литература которой также характерна этими явлениями. Китайская литература пользуется уже готовым опытом японской буржуазии воспроизводить импрессионистические образы через иероглифику. Своеобразие, отличающее стиль новой китайской литературы от старой, помимо живых форм языка, заключается именно в этом импрессионизме образов, данных в европеизированном виде.

Особенно богат таким образом Го Мо-жо. Так например, в своих ранних произведениях, он употребляет такие образы: «... Поезд уже мчался по берегу моря, солнце склонялось к западу, и небо было — свежескрасная дымящаяся кровь, а море — пурпурные слезы винограда», или: «Крики лягушек по-прежнему раздавались плачем над тополями, и ступни солнца постепенно направлялись к западу». Можно привести еще несколько примеров, характерных не только для одного Го Мо-жо: «Я одна за столом, — из окна дует ледяной ветер, надувая свои щеки», или: «Извилистый берег морской — лук Купидона».

Описывая свою жизнь в Шанхае, где по его выражению, «жизнь — зерно на каменистой почве», Го Мо-жо заканчивает произведение такими словами: «1891 год тому назад распятый вместе с Христом разбойник возродился в Шанхае».

Для выражения новых понятий и образов, китайскими писателями заимствуется целый ряд японских слов в их начертательном, а не произносительном виде, например, японское слово «Masobikibu» (萬引) превращается в чисто китайское слово «ваньинь», означающее кражу. По существу ничего не означающее сочетание иероглифов «мань» и «доу» дает понятие

слова «манто». Кроме того, вводятся европейские и, главным образом, английские слова, своего рода «неологизмы»: 或有 'gypsy 的血; 這是我的 confession 了; 他那 'soprano 的高音 и т. д.

Классовый феодальный характер китайской иероглифики, непригодный для выражения идей капиталистического общества, преодолевается опять-таки в семантическом отношении путем заимствования новых японизмов в китайском виде, а в стилистическом отношении, особенно для передачи *couleur locale* не китайского типа, — приемами композиции.

Лучшим примером этого служит тот же Го Мо-жо с его рассказом «Башня Löbenicht», в котором он дает картину старой Германии и жизни Канта в Кенигсберге в момент создания Кантом понятия «вещи в себе». В этом произведении иероглифика с ее специфическим зрительным впечатлением преодолевается, и сквозь иероглифику мы видим музыку живой речи. Это же явление мы видим и в его романе «Опавший лист». К сожалению, такие примеры трудно иллюстрировать и необходимо обратиться непосредственно к произведениям, написанным иероглифически.

Влияние импрессионизма на форму наблюдается также и в остранинии образов, чрезвычайно характерных для современной китайской литературы. Для современных писателей дождь — это слезы, облака — это корабли, бабочки — это сестры и цветы — возлюбленные.

Происходит европеизация и японизация мотивов, которые целиком вкладываются в импрессионистические формы композиции, на которых мы также наблюдаем иностранное влияние.

Крики лягушек ...
заводь речная,
полная рясок ...
Воздух предместий
так свеж и чист.
Тополь на том берегу
шелохнулся ...
Ворон белоголовый,
десять лет не видались с тобой.
... А под ивовой тенью
стая уток плывет.

(Го Мо-жо. «Речная заводь»).

Новый собрать урожай —
в поле работы не-мало.
Огни светляков — когда он идет домой

(Хэ Чжисянь. «Крестьянские песни»).

Для новой китайской поэзии импрессионистические формы характерны как в смысле подражания японской, так и в борьбе современной поэзии

против феодального стихосложения, не только против содержания, т. е. классической схоластики и рационализма, но и против форм, которые являются пережиточными, сохранившимися от VIII в. Достаточно дать несколько примеров, чтобы убедиться в этом:

Повеяло ветром южным
улыбку весны
принеся из царства морского.

(Бин-Синь. «Вешние воды»).

Отец!
Выйди и сядь под светлой луной.
... Расскажи мне про море...

(Бин-Синь. «Звезды»).

В связи с иностранными влияниями импрессионизма стоит и деформация синтаксиса. Мы наблюдаем строй современной китайской фразы, отличающейся от старой китайской фразы, т. е. например, очень часто определяемое ставится перед определяющим, перемещается объект и предикат, иногда же китайское произведение кажется простой иероглифической записью английских произведений. В качестве такого примера можно привести хотя бы произведение Сун Ят-Сена «Три принципа». Даже зрительно современная китайская литература европеизирована. В чисто внешнем оформлении слова идут в сторону слева направо с европейскими знаками препинания.

Сумма всего перечисленного не дает, конечно, законченной картины влияния, но важно дать представление, хотя бы общее, о той интереснейшей и важнейшей области в новой китайской литературе, которая до сих пор не вошла в орбиту современной, так называемой синологии, несмотря на большое количество актуальных проблем, связанных с литературой Китая наших дней.

Из приведенного мною далеко неполного, эпизодического материала, кончающегося 1926 годом, мне кажется, все же можно видеть, что иностранное влияние на китайскую литературу подчиняется общему закону влияния в развитии классовой литературы. Мы знаем, что экономика является обязательной предпосылкой и условием для литературного воздействия, но что только при близости социально-экономического базиса класс одной страны может влиять на класс другой. В китайской литературе влияние иностранной литературы подчиняется этому закону, и соответственные слои буржуазии подвергаются соответственному влиянию буржуазных слоев Запада, перерабатывая это заимствование соответственно со спецификой собственного социального заказа и общественного сознания. По законам

влияния, установленным марксизмом, импорт литературных ценностей, особенно силен при начальном становлении классовой литературы, когда эта литература является еще слабой и беспомощной. Пример Китая подтверждает это положение.

Наконец, следует оговориться, что хотя литературные влияния, в частности иностранные, — очень существенный участник классового развития, однако, в становлении классовой литературы играют второстепенную роль. Главным является рост класса и укрепление его социально-экономической базы. •

Таким образом экскурс в историю вопроса о литературных влияниях доводится до 1927 г., причем вопрос о влиянии советской литературы стоит особо, и советское влияние, в достаточной мере наблюдаемое и до 1926 г., отчетливо начинается после этой даты, которая связана с разгромом революции в 1927 г., и с волной ее нового подъема в 1929 г., на новом высшем этапе борьбы за Советы, когда в литературе Китая организуется, так называемый «левый блок» писателей и когда, в сущности, намечается определенная линия развития пролетарской литературы.

Е. Э. БЕРТЕЛЬС

ПЕРСИДСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН XX ВЕКА

1

ИЗУЧЕНИЕ влияния европейской литературы на литературы восточные — задача крайне интересная и весьма нужная для теоретического литературоведения. Многие положения, доказанные пока классиками марксистского литературоведения только на материале западно-европейском, получают свое подтверждение и на этом новом материале. С другой стороны, некоторые отклонения, с первого взгляда как будто противоречащие принятым взглядам, будучи тщательно проанализированы, оказываются в свою очередь обусловленными специфическими чертами исторического процесса на Востоке и, таким образом, еще укрепляют позиции новой литературной науки.

Приступая к анализу западного влияния на персидскую литературу XX в., я сначала имел в виду охватить всю литературную продукцию Персии за последние тридцать лет. Однако, при такой постановке вопроса я или должен был бы дать целый солидный том, или же ограничиться одними общими положениями, не имея возможности показать самый материал. Эти соображения заставили меня отказаться от такого широкого охвата и ограничить работу одним только жанром, а именно «романом историческим». Выбор мой остановился именно на этом жанре в силу того, что, во-первых, этот жанр в настоящее время пользуется широким распространением и тем самым явно доказывает свою актуальность, во-вторых, специфическими особенностями этого жанра в Персии, крайне ярко вскрывающими некоторые черты ее общественной жизни и, в третьих, обилием материала, который именно в этой области мной мог быть использован сравнительно полно.

К сожалению чисто-методологически такой вырез известной части материала создает некоторые затруднения и невольно толкает исследователя

в сторону ошибок, которых, вероятно, мне не вполне удалось избежать и за которые я заранее приношу свои извинения.

Таким образом, задачей настоящей работы является анализ персидского исторического романа XX в. с целью 1) вскрыть его социальный эквивалент и 2) показать его зависимость от европейской литературы. После этих вступительных замечаний перехожу к самой теме.

2

Проникновение западно-европейского капитала в Персию ускорило крайне медленно протекавший до тех пор процесс капитализации страны. Не успели закончиться первые стычки каджарской монархии с русским капиталом, как борьба городской буржуазии с феодалами начала приобретать отсутствовавшую до тех пор остроту. До XIX в. городская буржуазия (главным образом мелкая, в лице ремесленников, поддерживаемых в этом и купечеством) вела борьбу с феодалами путем чисто-пассивным, не идя далее критики, построенной на религиозно-мистической базе, окрашенной в пессимистические тона и проникнутой жаждой потустороннего утешения. Эта суфийская литература многим исследователям представляется типичным выразителем идеологии феодала, но факт свирепого преследования ее со стороны феодалов и их союзника — духовенства явно говорит о противном и ясно доказывает, что иногда под покровом суфизма скрывалась литература враждебного феодалам класса.

В первой половине XIX века движение буржуазии хотя и сохраняет свою религиозную оболочку, проявляясь в форме бабизма, но уже на этот раз программа его не ограничивается одним отречением от мира, а намечает постройку своего собственного мира на «этой» земле, стремясь заградить пути для вторжения иностранного капитала. Эти утопические чаяния буржуазия даже пытается защитить с оружием в руках, привлекая на свою сторону в известной мере и часть крестьянства. Не случайно, что движение бабидов особенно бурно разыгралось на севере Персии, где под влиянием торговли с Россией процесс капитализации развертывался особенно быстро.

Но до решительных боев было еще далеко. Восставшие были разгромлены и движение подавлено с неслыханной жестокостью. Буржуазия была еще слишком слаба и неорганизована и бороться с феодалами ей было не под силу. Борьба продолжалась в скрытой форме и вспыхнула в виде пожара только после русской революции 1905 г., завершившись созданием пародии на буржуазно-демократический парламент. Буржуазия начинает ощущать под ногами почву и, тем не менее, буржуазная революция все же

до логического конца не доводится. Довести ее до конца мешает, с одной стороны, слабость персидской буржуазии, в своем большинстве являющейся только обслуживающей сферу обращения, и почти полное отсутствие какой бы то ни было промышленности, с другой, — давление западного империализма, открыто поддерживающего феодалов. К этому в дальнейшем присоединяется еще и новый фактор — страх перед революционным движением трудящихся масс, которое, раз начавшись, может перерасти рамки буржуазной революции и привести к гибели и самую буржуазию. Отсюда проистекает резкий вольт вправо, устремление к «сильной власти», просвещенному абсолютизму, который, начавшись хотя бы с военной диктатуры, мог бы, с одной стороны, привести к повиновению феодалов, с другой, — раз и навсегда истребить революционное движение масс и обеспечить возможность развития для буржуазии. Эти тенденции привели к тому, что часть буржуазии приветствовала воцарение Риза-хана, желая видеть в нем своего защитника. Правда, эти ожидания оказались не совсем правильными, ибо Риза-хан, действительно беспощадно подавляя крестьянское и рабочее движение, на деле все же выступил только защитником интересов крупного помещика и верным слугой британского империализма, чрезвычайно мало интересующаясь судьбами персидской буржуазии. Но, повидимому, в данный момент персидская буржуазия из двух «зол» предпочитает меньшее и от всякого более или менее активного наступления сознательно воздерживается.

3

Все эти процессы, конечно, не могли не найти своего отражения и в области литературы, выражаясь в форме «литературной революции» или «европеизации» персидской литературы. Процесс обезземеливания персидских феодалов гонит их в города и создает довольно значительную армию чиновничества, заполняющую правительственные канцелярии. Из этих же кругов идет и пополнение офицерского состава каджарской армии. Уже во второй половине XIX в. под давлением событий, охарактеризованных выше, в среде этой военной и гражданской бюрократии начинает ощущаться все большее расслоение. На стороне правящего класса остаются только верхушки, обладающие почти неограниченной властью и широко пользующиеся возможностью набивать свои карманы всеми законными и незаконными способами. Младшие служащие материально необеспечены, почти лишены каких бы то ни было прав, ежеминутно стоят перед угрозой утраты и той сравнительно очень скромной позиции, которую они занимают. В результате, революционные идеи буржуазии находят здесь для себя пре-

красную почву и к моменту революции 1906—1911 гг. мелкое чиновничество и младший офицерский состав решительно переходят на сторону буржуазии. Эти-то круги и выступают в начале XX в. в качестве главных деятелей «литературной революции», решительно противопоставляя себя прежнему «придворному» поэту, выразителю идеологии феодальной аристократии. Первой задачей, стоявшей перед этими литературными деятелями, было разбить тематику феодализма, оторваться от его канонизированных почти тысячелетней литературой форм. Но ввести новые темы и перестроить всю литературную практику, пользуясь старым литературным языком, было невозможно. Задача усложнялась, таким образом, еще и необходимостью создания литературного языка, пригодного для достижения намеченных целей. Язык старой классической литературы, в XIX в. ставший условным литературным языком, для этого пригоден не был. Типичный продукт феодализма, язык этот заостенел и своими застывшими оборотами не мог передать живой речи буржуазии.

Первые шаги к разрешению указанных задач в Персии, как и во многих других странах Востока, осуществились в виде обширной переводческой деятельности, перенесшей целый ряд западно-европейских литературных произведений на персидскую почву. Сближение Персии с Францией в начале XIX в. имело своим последствием появление в персидской армии французских инструкторов и распространение в офицерских кругах знания французского языка. Эти знания теперь пригодились и мы видим, что первые переводы делаются исключительно с французского. За пятьдесят лет переводчики выпустили в свет несколько десятков переводов, причем среди переведенных книг первое место занимают произведения Вольтера, Дюма, Мольера, Лори, Бернарден де Сен-Пьера, Лесажа и Жюль Верна. Из не французских авторов за это время появились только Дефо (Робинзон Крузо), кстати переведенный опять-таки с французского и некий Рейнольдс, авантюрно-исторический роман которого был переведен опять-таки не с английского оригинала, а с перевода на хиндустани.

Список переведенных книг представляет собой необычайно пеструю картину, с первого взгляда может показаться, что между всеми этими авторами ничего общего нет. Однако, на самом деле кое-что общее во всех этих романах есть. Во первых, все это исключительно проза, стихов не переводит никто, во вторых, здесь нет почти ни одного произведения, которое не отличалось бы большой динамичностью и не давало бы драматического действия на фоне авантурной интриги. В третьих, все эти произведения переводчиками воспринимались как книги, имеющие целью позна-

комить персидского читателя с жизнью и историей Запада. Интересно отметить, что романы Дюма шли под флагом «истории» и воспринимались как научная работа.

Подбор, который мы видели, не случаен. Конечно, не нужно думать, что переводчики сознательно выбирали книги. Оригиналы попадали им в руки часто случайно. Но из всего того, что могло попасть им в руки, отобраны только такие произведения, которые резко контрастируют со старой классической литературой. Если классический период давал почти исключительно поэзию, то теперь мы видим почти исключительно прозу. Если старая поэзия отличалась описательным характером, психологизмом и почти полным отсутствием действия, то теперь ее место заняли мелькающие как кинематограф романы Дюма. Наконец, на смену «вымышленным» героям романтической поэмы, дивам и пери пришли «взаправдашние» французские короли и их двор. Одним словом, переводы эти рассчитаны уже не на прежнего читателя — феодального аристократа, а на читателя нового. Не даром среди переведенных авторов такое видное место занимают излюбленные авторы западной буржуазии.

Как уже было сказано, переводы эти сыграли огромную роль для легализации нового литературного языка. Применение размеренных периодов, пересыпанных рифмами, при переводе этих романов было невозможно. Хотя некоторые из первых переводчиков и пытались в своих работах применить старый классический язык, но вскоре им пришлось убедиться в полной его непригодности. Мы уже указывали на связь первых переводчиков с правительственными канцеляриями и т. п. учреждениями. Неудивительно, поэтому, что при выработке нового литературного языка, громадную роль сыграл именно канцелярский язык, бесцветный и избыточный штампованными оборотами. Слабость персидской буржуазии помешала ей взять непосредственно на себя литературное творчество и заставила ее проводить свои идеи в литературу чужими руками. Эта слабость не изжита ею и доныне и потому до сих пор процесс создания нового литературного языка еще не нашел своего завершения. В языковом отношении романы 1931 г. ничуть не лучше первых попыток начала XX в., хотя вместе с тем первые ласточки уже есть, и такая книга как новеллы Джемаль-задэ (Яки буд, яки на-буд) показывают, что преодоление канцелярского штампа вполне возможно.

Деятельность переводчиков указала персидским авторам путь, который легче всего мог привести их к намеченной цели и уже в первом

десятилетия XX в. появляются и оригинальные произведения на персидском языке. Я уже указал, что в настоящем небольшом этюде намерен затронуть только один жанр из новейшей литературной продукции Персии, а именно роман исторический. К рассмотрению важнейших из этих романов мы теперь и приступим, причем начнем с краткой характеристики каждого из них в отдельности. Подвергать каждый из них обстоятельному критическому анализу едва ли целесообразно, ибо художественная и социальная ценность их не особенно велика. Поэтому мы ограничимся сжатой характеристикой их, рассмотрение же необходимых для нашего анализа деталей отнесем в конец, где будем рассматривать всю эту продукцию как одно целое, отмечая общие ее черты.

Повидимому, первым историческим романом на персидском языке нужно признать роман *Ҷан'ати-зāдэ Кирмāни* «*Dām gustarān jā intiqām-xāhān-i Mazdak*» («Расставители тенет или мстители за Маздака»), первый том которого был написан автором его (тогда еще 14-летним юношей) еще в 1317 г. (1899—1900). Напечатан он был, однако, значительно позднее, а именно только в 1920—1921 г. в Бомбее, а второй и последний том увидел свет в Тегеране в 1925—1926 г.¹ В предисловии к первому тому издатель указывает на то, что до этого романа все персидские романы были переводными (что не совсем верно, так как в печати до него успели появиться два оригинальных романа, как мы это увидим дальше), и что это первый оригинальный роман на персидском языке. Ценность его, по мнению издателя, в том, что он ясно показывает причины, вызвавшие утрату Персией национальной независимости, а именно, порчу нравов. Автор, написав первый том, не хотел заканчивать романа, но, увидев лестный отзыв Эд. Броуна, все же написал и второй том.

Действие романа относится к последним годам царствования сасанидов и изображает гибель этой династии, арабское завоевание и смерть последнего сасанида Йездегирда. На этом фоне разворачивается довольно примитивная романтическая история, самостоятельного значения не имеющая и играющая роль вставного эпизода. Автор пытается установить причины падения сасанидского престола. В его изображении они сводятся к личным качествам Йездегирда — трусливого тирана, ради спасения престола готового на любые жестокости, отсутствие честных и преданных людей при дворе и проискам тайного общества Маздакитов, предающего страну, для того, чтобы отомстить сасанидам за смерть основателя общества —

¹ О нем см. Ed. Browne, *A History of Persian Literature in modern times*, Cambridge, 1924, стр. 466.

известного Маздака. Тирану Йездегирду противопоставлен вождь Маздакитов — Махой, плотник по профессии, неутолимый мститель, по пятам преследующий тирана и, наконец, поражающий его кинжалом в заброшенной мельнице. Фигура Махоя совершенно ясно возникла под влиянием знаменитого «Графа Монте-Кристо», причем помимо основной фигуры этот роман Дюма дал автору еще целый ряд деталей. Особое внимание автор уделяет зороастрийским жрецам — мобедам, которых он рисует в самых мрачных тонах, наделяя их, между прочим, всеми характерными чертами теперешнего мусульманского духовенства.

Наиболее интересная черта этого романа в том, что в его изображении расшатанная засилием духовенства тирания рушится под ударами двух сил — внешнего врага (арабов) и внутреннего — революционного общества маздакитов, во имя мести губящих национальную независимость Персии. Здесь совершенно явно отражается страх персидской буржуазии перед революционным движением, которое может смести ее с лица земли. Отсюда стремление пострадать читателя утратой «независимости», которая может наступить в результате деятельности революционных сил.

Художественная ценность романа очень невелика. Построение крайне примитивно, характеры обрисованы бледно и схематично. Главное место занимают все аксессуары авантюрного романа — тайные заседания, потайные двери, ночные дуэли и т. п.

Вторым по времени написания идет громадный роман Мухаммад Бақир-мирзы Хусраві «Şams u Tughrā». Роман этот был начат автором в августе 1907 г. в Кирманшахане во время бахтиарского восстания. Автор в это время скрывался в одной из деревень около города и использовал свой досуг для писания романа. Закончен он был 23 шавваля 1327 г., т. е. 7 ноября 1909 г.

Действие этого романа переносит нас в XIII в., в эпоху правления ильханов, когда Фарсом от имени монголов управляла известная Абиш-хātун (1263—1287 г.), а верховным правителем Персии был Абага-хан. Хусраві широко использовал персидских историков и в начале своего романа дает список всех трудов, которые им были привлечены. Каждую из этих книг он снабжает определенным шифром и включаемые им в текст романа выписки (буквальные) снабжает соответствующей буквой. Количество этих выписок весьма велико. Широко использованы описания городов, детали отдельных исторических событий и т. д. Таким образом создается богатый исторический фон, на котором и развивается действие громадного романа, занимающего целых три тома in folio. Собственно говоря, это три

самостоятельных романа, объединяемых в одно целое только общностью героев.

Главный герой романа — молодой воин Шемс, ведущий свой род от древних правителей Фарса Буидов, но к моменту начала романа обедневший и обладающий только небольшим поместьем в одном из уголков Фарса. Случай сталкивает его с дочерью монгольского вельможи Тугрā. Молодые люди влюбляются и дальнейшее действие романа изображает их борьбу за преодоление препятствий к соединению. Препятствий этих много. Тут и запрет правительства, не позволяющий монголам соединяться с «таджиками», и военные действия, плен у пиратов и т. п. К этому присоединяется вторая линия, рисующая подвиги Шемса при ширазском и монгольском дворах, находку громаднейшего клада, постройку фантастического дворца с подземными потайными ходами и все прочие принадлежности авантюрного романа.

Автор всеми мерами стремится изобразить Шемса как идеал благородства, чистый тип рыцаря. Но у читателя складывается несколько иное представление. Несмотря на все уверения автора, Шемс предстает перед нами как довольно подозрительная личность, ловко втирающаяся в доверие сильных мира, в случае необходимости не останавливающаяся перед самыми темными средствами для достижения своих личных целей.

Зато вполне безупречны его отношения к Тугрā, идеализованные до последнего предела. В общем, не нужно большого труда, чтобы узнать в Шемсе комбинированные черты д'Артаньяна и Монте-Кристо, обладателя сказочных богатств.

Окружает героев ряд феодалов разных степеней — все это жестокие тираны, развратники, пьяницы, соединяющие в себе все отрицательные свойства. Придворные — лстивые лицемеры, за спиной старающиеся всячески повредить своим «друзьям». Рядом с ними выступают «пехлеваны», затем представители кочевых племен и т. п., которых автор сильно идеализует, изображая их честными, смелыми воинами, не лишенными, однако, некоторой природной хитрецы.

Язык произведения значительно ближе к живому языку, чем язык романа Сан'атй-зāдэ, но особым богатством не отличается. Основная тенденция романа ясна — возвеличить обедневшего аристократа, проникнутого буржуазным демократизмом, и противопоставить его массе феодалов, — своего рода идеализация «мелкого офицерства».

Художественно произведение это значительно ценнее первого романа и содержит не мало довольно ярких страниц.

Третьим по времени идет роман «İşq u saltanat» («Любовь и власть») Агā шейх Мӯсā, ректора медресе Нусрат в Хамадане, законченный в 1916 г. и напечатанный первый раз в Хамадане в 1919 г., второй раз в 1924—1925 г. в Бомбее. О романе этом несколько слов уже было сказано Эд. Броуном,¹ однако кроме нескольких мелких деталей английский иранист ни на что внимания не обратил.

Автор имел в виду дать целую серию романов, охватывающих значительный период истории Персии. Первый роман он закончил в шесть месяцев, но потом целых три года не мог его напечатать и поэтому охладел к своему плану и второго романа не закончил.

Роман представляет собой не что иное как известную историю основателя династии Ахеменидов Кира, изложенную в виде романа. Источником служил французский перевод Геродота и некоторые французские работы по истории Персии. Поэтому все имена собственные даются в офранцузенном виде, вроде Сиагзар, Жупитер (кстати, это имя автор считает женским) и т. п. Источники автором несколько изменены, в частности; подвиг Кира объясняется мотивами романтического порядка.

Установка романа явно дидактическая — книга должна ознакомить читателя с историей Древнего Востока (правда, в довольно суммарном виде).

Главный герой Кир обрисован весьма расплывчато. Это смелый воин, глубокий ученый, мудрый политик, но при всем том реального в нем нет ничего. Заслуживают внимания выраженные демократические тенденции его. Так, он говорит, например (стр. 22), что «султан во всех отношениях равен любому из своих подданных». Это, однако, не мешает ему обращаться с этими подданными довольно таки властно. Ему противопоставлен Астиаг — трусливый тиран, алкоголик, окруженный магами, жестокий и безжалостный.

Чрезвычайно выпукло проходит линия обличения зороастрийского духовенства — взяточников, развратников, бездельников и т. п. Однако, вместе с тем, автор постоянно оговаривается, что сама религия безупречна, что ее трогать нельзя. Кир, борясь с магами, в то же время всякий шаг свой стремится санкционировать религиозными предписаниями.

Язык романа — сухой, стиль канцелярского документа. Индивидуализации речи действующих лиц нет. Говорят они все одним и тем же шаблоном, близким к канцелярскому языку. Художественная сторона языка не разработана и в этом отношении никакой ценности книга не предста-

¹ Op. cit., стр. 464.

влет. Западное влияние сказывается в самой форме и отдельных эпизодах, совершенно явно ведущих опять-таки к тому же Дюма.

Та же самая тема разрабатывается и четвертым романом «*Dāstān-i bāstān*» («Повесть о древних»), принадлежащим перу мирза Хасан-хана Нусрат ал-вазāра Бадй'. Закончен этот роман в 1920 г. и вышел в свет в Тегеране в 1921 г. Автор в предисловии довольно обстоятельно говорит о задаче, которую он себе ставил. «Европейцы, говорит он, включают научные и общественные темы в свои романы. Многие из этих романов переведены на персидский язык, но все это история Запада, для возбуждения национальных чувств они бесполезны. Надо создать чисто-персидские произведения и, лучше всего, о великих царях прошлого, ибо это напомнит нам о древнем величии и могуществе Ирана, воплотит перед нами нашу народную гордость и честь и тем умножит наш патриотизм и любовь к нашему народу».

Как уже сказано, темой этого романа служит та же самая легенда о возникновении государства Ахеменидов. Но на этот раз автор не ограничился пересказом Геродота, а значительно усложнил свое повествование, введя в него в качестве дополнительного героя Бижена — главное действующее лицо романа «Бижен и Манижэ», части «Шāхнāmэ» Фирдоуси. История любви Бижена и Манижэ изложена в полном соответствии с Фирдоуси, но в конце к ней прибавлено длинное описание путешествия Бижена по Переднему Востоку. Путешествие это, сопряженное с тысячами опасностей (переодевания, плен у пиратов и т. п.), Бижен совершает по поручению Кира с целью военного шпионажа. Завершается роман завоеванием Лидии, взятием Вавилона и счастливым соединением Бижена и Манижэ.

Дидактический элемент чрезвычайно силен и здесь — мы находим в романе целых 12 очерков истории Древнего Востока. Источники те же как и у шейха Мұсы, только к ним присоединяется еще Шāх-нāmэ. Центральные фигуры опять те же — знакомый нам тип восточного деспота Астиаг и противопоставленный ему мудрый и справедливый правитель Кир, здесь также чрезвычайно идеализированный и расплывчатый. Хотя в начале романа Кир занимает главное место, но в дальнейшем его оттесняет на второй план Бижен, рыцарь немного средневекового типа, являющий чудеса храбрости в борьбе с дикими зверями, злодеями всех видов и даже драконом. Как и Шемс он тоже отличается совершенно необычайной верностью в любви, Шемса он напоминает также и некоторой плутоватостью. Он тоже умеет ко всем втираться в доверие, в случае необходимости лгать и притворяться и, вообще, искусно ведет свою линию.

Героев окружает бесконечная галерея второстепенных персонажей всех сословий, на которых останавливаться не будем. Упоминания заслуживает систематическое обличение жрецов всевозможных культов — все они развратники, обманщики, жестокие злодеи, помышляющие только о своем благе.

Чрезвычайно большой интерес представляют политические высказывания, вложенные в уста правителей древнего Ирана. Отец Кира говорит: «Надо стараться, чтобы люди в полной свободе занимались ремеслом и торговлей. Счастье страны в торговле, промышленности и земледелии. Нужно стараться, чтобы импорт страны не превышал ее экспорта. Одна из важнейших причин процветания и прогресса страны — ее торговля».

К этому можно присоединить еще и тот факт, что Бижен во всех посещенных им городах сугубое внимание обращает на положение торговли, причем повсюду страны процветают только тогда, когда торговля их хорошо развита. Таким образом, этот роман еще ярче трех предшествующих подчеркивает линию торгового капитала и отстаивания его интересов, совершенно не считаясь с тем фактом, что во времена Ахеменидов, к которым отнесено действие этого романа, торговля едва ли могла играть такую первенствующую роль.

По языку этот роман наиболее интересен резко выраженным расчленением на разные стили. Придворные говорят изысканным языком, близким к образцам классической прозы, второстепенные персонажи — живым разговорным языком буржуазии наших дней. Влияние западных образцов сказывается только в общем построении и некоторых мелких деталях, в основном же почти все произведение построено из обломков классических традиций.

Наконец, пятый роман, на котором мы пока и закончим свой обзор, написан тем же Сан'ати-зādэ, перу которого принадлежит и роман о последователях Маздака. Это «Dāstān-i Mānī-Naqqāş» («Повесть о художнике Мāнī»), вышедшая в Тегеране в 1926—1927 г. Роман этот в чрезвычайно сумбурной форме пытается познакомить читателя с фигурой основателя секты манихеев — знаменитого Мāнī. С историческим Мāнī, о котором, впрочем, мы знаем не слишком много, эта фигура, повидимому, имеет весьма мало общего. Автор совершенно не давал себе отчета в том, какие цели преследовал знаменитый ересиарх и чего добивался. Роман — сплошное нагромождение таинственных событий, подернутых туманом мистики и каких-то совершенно необъяснимых и непонятных поступков героя. Впрочем, может быть это объясняется отчасти тем, что мы располагаем только пер-

вым томом, а второй пока еще не написан. Думаю все же, что даже и второй том не сможет сделать Мāнī более правдоподобным и убедительным. Центральную часть романа занимает борьба Шапура с византийским императором Валерианом и победа персов над византийцами, хотя, собственно говоря, весь этот эпизод к самому герою имеет весьма мало отношения.

Наряду с главным героем мы опять-таки и здесь находим два типа монархов — жестокого, пьяного и развратного Валериана и противопоставленного ему энергичного и демократично настроенного Шапура. Чрезвычайно интересен тип одного из второстепенных действующих лиц — молодого помещика феодала, беспощадно притесняющего своих крестьян. Тип этот безусловно списан с натуры и не представляет редкости в Персии и доньше. Как и во всех предшествующих романах и здесь обличаются жрецы — «ленивые медведи», в лучшем случае являющиеся бесполезными паразитами, в худшем — зловердными обманщиками.

Влияние Запада и здесь весьма незначительно и исчерпывается несколькими эффектными деталями, заимствованными из авантюрного романа Андрэ Лори «Le secret du mage».

Этими пятью историческими романами продукция последних лет не исчерпывается: сюда можно было бы еще добавить выпшедшие в 1930—1931 г. роман «Lāzīkā», написанный Камālī и историческую пьесу «Parvīn duxtar-i Sāsānī», произведение Сāдиқ Хидāята, но так как оба эти произведения ничего существенного к полученной нами картине не добавляют, то от рассмотрения их я воздержусь.

5

После всего сказанного определение социального эквивалента персидского исторического романа первой четверти XX в. уже особых трудностей не представит. В самом деле, основные черты выступают в нем необычайно ярко. Прежде всего, почти все романы (из семи упомянутых нами — шесть) переносят действие в домусульманскую Персию, мотивируя это тем, что рассказ о былом величии страны должен повысить патриотические и националистические чувства читателя. Характерно, что в одном случае мы имеем показ гибели национальной независимости, в другом же, единственном романе из мусульманского периода, резко подчеркнутые указания на тягость существования под иноземным гнетом.

Далее, все романы ставят себе определенную задачу дать уничтожающую критику феодализма, обнажить все его язвы и показать внутреннюю несостоятельность. Это достигается как путем показа феодального власте-

лина, так и окружающих его помещицко-рыцарских кругов. Наряду с этим, в качестве положительных типов, выдвигаются обедневшие дворяне, младший состав офицерства, в некоторых случаях отдельные представители чиновничества и купечества. К духовенству отношение резко отрицательное, но таково оно только по отношению к духовенству; религия как таковая не затрагивается, даже напротив, местами подчеркивается чистота и неприкосновенность ее. Разврату феодала противопоставлена необычайная чистота нравов, «семейственность» главных героев, путем чудовищных самопожертвований, строящих свое семейное счастье.

Всего этого вполне достаточно, чтобы установить, что в основном творцом этой литературы должен быть признан персидский торговый капитал. Отсюда проистекают все свойства этого романа, начиная от подчеркнутого национализма, объясняемого тем, что персидское купечество желает сохранить свой рынок за собой, оградить его от вторжения капитала западно-европейского, и кончая борьбой с духовенством, главным оплотом феодальной реакции в Персии. Характерно также и то, что борьба с духовенством в этой литературе отнюдь не означает еще борьбы с религией, так как такого рода борьба буржуазией, конечно, вестись не может. Борьба с феодализмом и защита национальной независимости — вот основной лозунг всех этих романов.

Художественная малоценность всех этих произведений легко объясняется слабостью и неорганизованностью торгового капитала в Персии. Не нужно забывать, что мы находим там преимущественно мелкого торговца, маклера, посредника для западно-европейского капитала. Это мешает персидскому торговому капиталу принять более четкие формы, более ясно осознать свои задачи и цели, а тем самым препятствует и художественному творчеству этого класса. Характерно, что борьба с феодализмом во всех романах без исключения ведется не особенно энергично и стремления героев не идут дальше создания демократической конституционной монархии. Здесь сказывается страх персидской буржуазии перед революционными силами, тот самый страх, который привел почти всех лидеров «социалистической» партии Персии в лоно полицейского режима Пехлеви.

Остается отметить еще один факт — крупную роль, которую играют в этих романах деклассированные помещики и офицерство. Эта сторона легко объясняется тем, что именно эти круги, т. е. мелкая интеллигенция, чиновничество, низший офицерский состав и т. п. в силу своей материальной необеспеченности в Персии примыкает к буржуазной оппозиции. Их то руками и созданы все эти романы, ибо само купечество при своей отста-

лости не может выдвинуть из своей среды необходимые писательские кадры. Этим объясняется и неоднократно отмеченная выше сухость языка, невольно выдающая своими оборотами те круги канцелярских чиновников, из которых выходят авторы.

6

Итак, персидский исторический роман создан персидским торговым капиталом. Тем самым, однако, уже заранее определяется неизбежность западного влияния на эту литературу и притом влияния исходящего от аналогичного класса в более или менее близкой стадии развития. Выше мы отметили, что черты влияния французской литературы почти во всех этих романах вскрываются без особого труда, но отметили также и тот факт, что влияние это по большей части не особенно глубоко и не идет далее заимствования общей формы и некоторых деталей в развертывании сюжета. Здесь нужно попытаться ответить на вопрос, почему же это влияние исходило именно из Франции, когда экономические и политические связи гораздо теснее соединяли Персию с русским и английским империализмом. Объясняется это, по моему мнению, тем, что русский и английский империализм во всей истории XIX—XX вв. выступал в Персии как открытый союзник персидского феодализма. Поэтому для персидской буржуазии обе эти литературы были настолько одиозны, что о влиянии их уже не могло быть речи. Хищническое лицо французского империализма персидская буржуазия разглядеть еще не умела, и потому Франция ей представлялась сравнительно безобидной. Кроме того французская литература — наиболее развитый тип буржуазной литературы и уже по этому одному она больше всего отвечает потребностям персидской буржуазии. Однако несомненно, что в смысле стадий развития персидский торговый капитал еще крайне далек от той точки, и с которой было бы возможно полное понимание тех образцов, к которым он тянется. Отсюда и слабость влияния, сводящаяся к внешнему механическому заимствованию. Отсюда невозможность переноса типичных для западной литературы тем на персидскую почву, где они явились бы чуждыми и непонятными.

Таким образом, установленный трудами Плеханова и Фриче закон об условиях, при которых возможно влияние одной литературы на другую, целиком оправдывается и здесь с той только разницей, что политические условия и нахождение Персии в центре внимания капиталистических держав приводит к некоторому искривлению силовых линий влияния

и связывает Персию с той страной, с которой экономическая связь ее наиболее слаба.

В заключение еще одна деталь. Почему из всей французской литературы именно романы Дюма оказали сильное влияние на персидский роман и толкнули его в сторону романа исторического? Здесь придется отметить, что Дюма, хотя и использует в своих романах преимущественно самые высшие круги старой Франции, но вместе с тем в качестве героя избирает не типичного представителя феодалов, а деклассированного обедневшего аристократа (д'Артаньян) или даже и представителя мелкой буржуазии (Монте-Кристо). Таким образом, герои Дюма невольно привлекали к себе внимание мелкой буржуазии, излюбленным чтением которой они всегда являлись. Не случайно поэтому, что из всех романов Дюма именно «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо» привлекли наибольшее внимание, и герои персидского исторического романа стремились приблизиться именно к этому идеалу. Далее, нельзя не признать, что в формальном отношении романы Дюма с их пестрым, быстро сменяющимся действием являются одним из самых ярких контрастов к статичной, посвященной психологическому анализу героев и тягучей поэме феодальной Персии. Установка на Дюма, как нельзя ярче подчеркивает полный разрыв с феодальными традициями и устремление к новым задачам. Наконец, главное обаяние для мелкобуржуазного читателя в романах Дюма составляют эти «сильные личности», храбростью, изворотливостью и сметкой прокладывающие себе путь в жизни. К этой сильной личности персидская буржуазия тяготеет уже давно. Ей нужен герой, который смог бы защитить ее интересы от нападений как справа, так и слева, который мог бы обеспечить ей «процветание национальной торговли и промышленности». В поисках этого героя она неустанно пребывает с самого начала XX в. и эти то поиски и приводят ее в объятия темных авантюристов от сенд Зия уд-дина до Риза-хана. Эту сильную личность персидская буржуазия нашла в романах Дюма и по своему преобразив, отразила в образе «покровителя экспорта» Кира и его преданных рыцарей. Таким образом, посвященный древнейшему прошлому роман в результате оказался выразителем совершенно иных тенденций и ярко выявил надежды и мечты персидской буржуазии.

Итак, в результате нашего рассмотрения персидских романов мы можем прийти к следующим выводам. Персидский исторический роман сложился впервые в начале XX в. и отражает собой борьбу персидской городской буржуазии против феодализма и его приспешников в лице крупного землевладения и духовенства. Развивался этот роман в силу осо-

бого положения Персии, зажатой в тисках двух крупных империалистических держав, под влиянием французской литературы и в первую очередь исторических романов, но по причине отсталости и слабости персидского капитала влияние это не является особенно глубоким, а распространяется преимущественно по поверхности, ограничиваясь чисто внешним подражанием.

18 X 1931

Мир-Али-Шир. Сборник к пятисотлетию со дня рождения. 1928. Ц. 3 р.

Худūd ал-‘алем. Рукопись Туманского. С введением и указателем В. Бартольда.
1930. Ц. 20 р.

Зарубин И. И. Вершикское наречие канджутского языка (оттиск из Записок
Коллегии востоковедов, т. II, вып. 2). 1927. Ц. 1 р.

Зарубин И. И. К характеристике мунджанского языка (оттиск из сборника
«Иран», т. I). 1927. Ц. 1 р.

Андреев М. С. Язгулёмский язык. Таблицы глаголов (1904 г.). 1930. Ц. 2 р.

Миронов Н. Д. Каталог индийских рукописей Азиатского музея. 1914. Ц. 10 р.

Миронов Н. Д. Каталог индийских рукописей Публичной библиотеки. Собрание
И. П. Минаева и некоторые другие. Вып. I. 1918. Ц. 4 р.

Цена 3 руб.

ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Записки Института востоковедения Академии Наук СССР.

Том I. Б. Я. Владимирцов. — Н. Н. Поппе. — Комиссия по латинизации. — И. Ю. Крачковский. — Е. Жуков. — А. Н. Самойлович. — С. Е. Малов. — Н. Н. Поппе. — Н. Я. Марр. — Н. А. Белгородский. — Б. А. Васильев. — Б. В. Миллер. — Р. А. Галунов. 1932. 321 стр., с 6 табл. Ц. 8 р.

Труды Института востоковедения Академии Наук СССР.

- I. Проблемы литературы Востока. I. Сборник статей Н. О. Конрада, Б. А. Васильева и Е. Э. Бертельса 1932. 126 стр. Ц. 3 р.
- II. В. И. Беляев. Арабские рукописи Бухарской коллекции Азиатского музея Института востоковедения Академии Наук СССР. 1932. XVI + 52 стр. Ц. 2 р. 50 к.
- III. Абū-л-'Алā' ал-Ма'аррī. Рисāлат ал-малā'ика. Издание текста, перевод и комментарии И. Ю. Крачковского. 1932. VII + 106 стр. Ц. 2 р. 50 к.
- IV. Белуджские сказки, собранные И. И. Зарубиным (печатается).

Проспекты и каталоги высылаются по первому требованию
Перечисленные издания высылаются наложенным платежом

Заказы направлять:

Ленинград 1, В. О., Тучкова наб. 2, Сектор распространения Издательства Академии Наук СССР